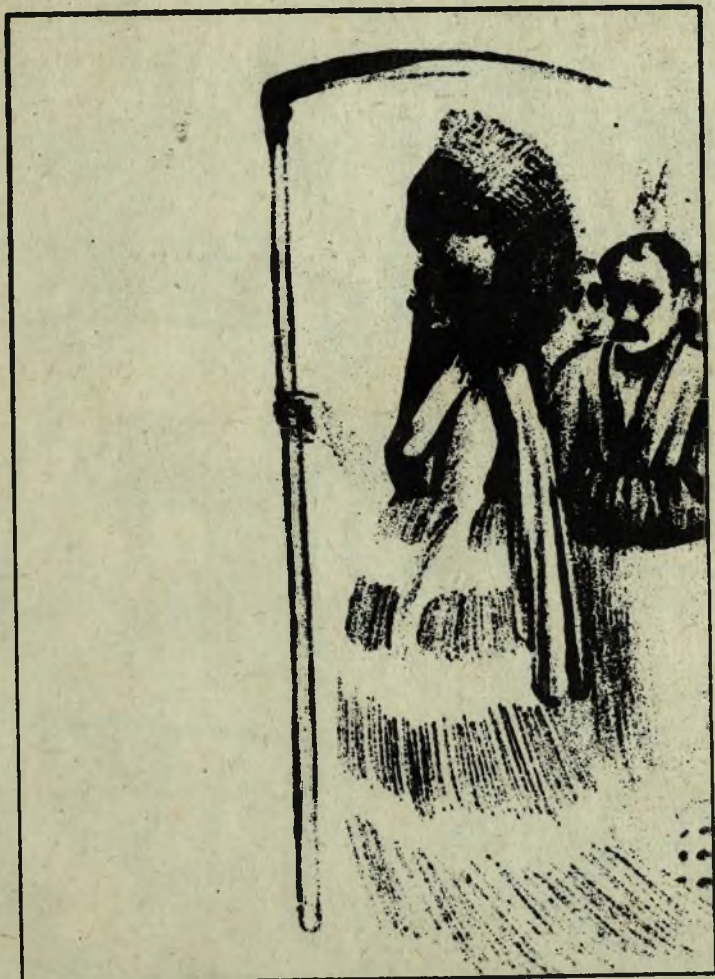


ОБЪЕДИНЕННЫЙ КОМП 1995 СТО
СТРОИТЕЛЬСТВО С 1998 ГОДА



СЫМЕРКИ



Сумерки —
 зря, полусвет: на востоке
 до восхода солнца, а на
 западе, по закате;
 (вообще) полусвет, ни
 свет, ни тьма;
 время, от первого рассвета
 до восхода солнца,
 и от заката ночи,
 до угаснутия последнего
 солнечного света.

Владимир Даль. Толковый словарь
 живого великорусского языка.



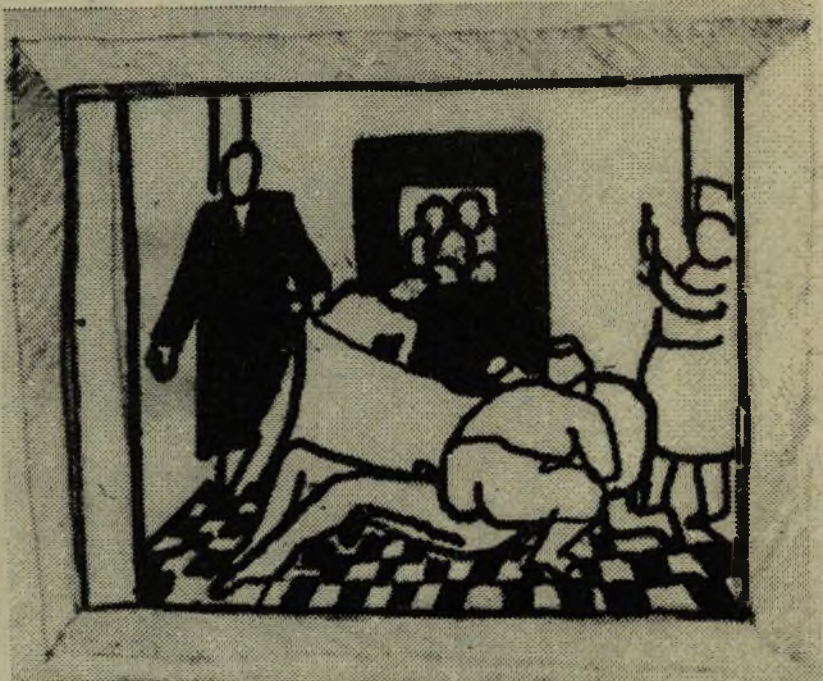


16



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ

СУМЕРКИ



ПОЭЗИЯ ПРОЗА

- 4 Игорь Булатовский СТИХОТВОРЕНИЯ
13 Аркадий Селезнёв ТОГДА И ТЕПЕРЬ (рассказы)
31 Валентин Бобрецов СТИХОТВОРЕНИЯ
35 Валерий Шубинский РУССКИЙ ДЖАЗ (повесть)
73 Арсен Мирзаев ВРЕМЯ ДО-ЖИТЬ
79 Павел Крусанов СОТВОРЕНИЕ ПРАХА (рассказ)
92 Александр Новаковский АВГУСТ (10 стихотворений)

BOOKSTAND

- 100 "Уже двадцать лет, как я здесь..." (НИКОЛАЙ ДРОННИКОВ)
112 Андрей Крусанов МАРИНЕТТИ В РОССИИ

ЭТАЖЕРКА

- 152 ЭДИТ СЁДЕРГРАН "САД МОЙ ПОЛОН ОСКОЛКОВ"

"НЕ ГОРОД РИМ ЖИВЁТ СРЕДИ ВЕКОВ..."

- 168 Аркадий Селезнёв ПОЛЬСКИЙ САДИК
182 Ирина Сысоева ВСПЛЕСКИ ПАМЯТИ

ПОЭЗИЯ ПРОЗА



Игорь Булатовский

Первое лето в городе

Б.Р.

Пройдет Лето, и не это

Не шествует Лето вперед
Под ластвицы сосен златые,
Чья горсть, упадая, поет
Любви поражение в правах.

И малого дыханья
Достанет в городах,
Чтоб удержать Его,

И легким черевам
Одним лишь ясно,
Легко ли место времени прошло.

Так эта бедность золотая
Все вниз приводит свет,
И земли там зарок откроют,
Когда его на небе нет.

А там тебе, на море, коник*
Да и морской конек
Цветы зовет на подоконник,
И звезды — на конек.

Когда над белым подоконником
Стоишь и саду на поклон
Не отвечаешь по-вечернему,
И, что коневник, смотришь вон, —

Край белый полотном не конником**,
Как бы вечерним ветром взят

* Кузнечик

** То же, что подоконник

И веется над подоконником,
Под локоть сталкивая в сад,

И веко нижнее становится
Полупрозрачным невпопад, —
О, знай! Душа наружу просится
И жизнь из комнат, наугад.

Погасят выше этажом,
Отхватят полберезы
И как бы воздуха ночным ножом
Срезают нижни лозы.

И воевода град Отрепьев
Уже к стене поворотил
И склабится, и сонных репьев
Бежать нет сил.

.....
И снова завтрак тремелюдный
И воздыхания земли
Мешаются, и роздых трудный
Оконны петли принесли.

Присонье о ткани

Ткея умаялась.
На малую рединку,
Недотокую, серпянку, паучинку
Уставилась,
И браный* парадиз
К ней прикатился сверху вниз.
Клевала жаровые зерна
На расточительном лугу,
В кошель черемухова дерна
Токала разную лузгу.
Вся перевесилась вперед
И слышит: баба ткет,
А Бог ей платье дает.

* Узорный

Метельщик

Метлы небеса метут
Перед Божьими стопами.
Вышел метыль предвратный,
Воздел пѣль троекратно,
Взгрел бус* по златылку,
Вздул фиолеву жилку,
Жилку ржаву, жарену,
Синей медью морену,
Мореным медом спашену.
Бороду-то отставил,
Вынул кверху сысала,
Одеванья расправил,
Дабы пыль обседала,
Весь расцветился ярко,
Мол, купец я богатый,
В прохладном ряду дую,
Пылью-ветром торгую.

Батюшков в Москве

Памяти Г.А.Б.

Спешу принести цветы и ульев сот янтарный
К.Батюшков

1

Медленный завтрак
мѣдлинный завтрак
в чужой квартире:
карее золото запаха
кофе жареным хлебом
плесень на сыре
наблюденье за небом
в ожидании ангела падкого
(ангела Вечности или Невинности?)
падкого на

* то же, что пыль

что-нибудь сладкое —
если Вечности, то на свободу,
а Невинности — на засахаренную
смороду.
Так чудна
их речь. О, колченогий мой слог!
я никогда не мог
так не касаться дна
и так по нему ступать.
Впрочем, как знать —
*Sono pittore anch'io**
Нрав-тихий-ангела-дар-слова-тонкий-вкус-
любви-и-очи-и-ланиты...

2

В обед попросил грибов, которые были ему поданы
с ореховым маслом. Затем потребовал меда. Очень
хвалил ореховое масло, которое, по его словам,
имело вкус меда. Вечером к чаю снова попросил
меда. В просьбе ему отказали, но послали заса-
харенную смороду, за которую он благодарил.

3

Чья душа?
Потому что не ангел
это вовсе:
два куста вместо крыльев
посажены Богом —
жасмин и черемуха,
пчелы вокруг,
он приносит мне сот,
по ночам ем я мед,
будто новый мидас —
карее золото.
Вещи все напросвет
этих крыльев ли ульев
поутру оставляют след
в деревянных углах.
Чья душа?
Потому что не плоть,

* Я тоже художник (итал.)

даже, если садится на стулья,
если сыра обрезки и крошки
берет со стола.

4

Умерев, можно выбрать
вместо кожи — муслин или шелк,
вместо прядей — горох или плющ,
кость свою заменить на слоновую,
очи взять у горлицы или еленя

как-половинки-гранатовых-яблок-ланиты-твои

5

Пирштиц электризовал мою голову и бил по ней.
Император Александр стоял рядом и смотрел.

6

Бесы курят турецкий табак,
обходя вокруг дома.

Табак-с
табак с

анемоном
шафраном
алоем

и пугают собак.

Письма картографа

(Евстахию)

1

О том, что человек есть животное
землемерительное не только ногами,
но и по присвоению земных пределов

частями тела своего, и что из этого
получилось

На стороны присвоил тесны
Части землемерительны телесны:
Востоком голову позадвинул,
Полдень правой руке прикинул,
В левую запихал полунощие,
Западание — в шества тощие.
Все они стали тут разбегаться:
По столу мной вертятся.
Один живот меня держит,
Себя за хвост кругом пятит,
Руконожье циркулем катит.

2

О том, что картограф есть одеватель
земли в одежды тела своего

Я сножил свои одеванья,
Сбагрил их, устроил ровно,
Приставил местожелателя,
Сводил края пеленанья,
Чурбака треугольного,
Долбанца заворачивал
Земледольного —
К рубашке своей притачивал.

3

С приложением пживой карты места,
дабы преувеличениями, преуменьшениями
и линиями несогласными вызвать у
Евстахия мнение о цвете, более
всего верной карте подходящем

Вот лежу и в кружальце дую,
В карту спицу уткнув медяную,
Отпускаю крючки, запонки,
Разбазариваю пеленки,
Тебе, Евстахий, депешу ставлю,
Землемарание свое славлю,

Раздуваю пяты, пузо,
По удам раздавая тузы,

Все наврал в этой карте кразу,
Твоему попуская глазу,
Затем, что ты здесь никогда не будешь,
А так верну краску земле присудишь.

4

О том, что всякая земля есть
отпечаток копыта животного Тененога,
коим вся рель*, солнцу противостоящая,
образуется

Это все — копыто Тененога
Изнутри,
Печатка однорога.
Где ступает Тененог —
Распускается восток,
Желтое тело морочит,
Тянет его как хочет,
Чернит подмышки,
Втирает застенье в бок.

5

О том, сколь трудно землю
сверху увидеть и о боковом
на нее смотреении

Лицом приступил боковым,
Торцом затрачивая шею,
До глаз, которые все смею
Заглядывать, как на медаль,
И что там наградить сумею —
Совсем не то с лица.
И кажется нечистой кожей,
Но больше на себя похоже,
Чем если чистить боковую рель
Гробницы этакой.

* рель - изгиб, рельеф.

Эфир

Д.

Воздух последний свиданий осенних!
Одно дыхание на вершинах парков.
Верхушки лип и тополей соседних
Земли не помнят, на душистых арках

Его тая, того, что небесами
Был целыми, и сладкую листву
Лица раскидывают сами
Эфирной полстью на траву.

И летняя земля, высокая, летела
Паренья листьев посреди...
Лицом ложится вниз, без дела,
И брошен барбарис один.

Иди, иди к окну. Ты помнишь этот воздух?
Как ночью нам дышать? Куда ни шло —
Днем: там деревья отвлекают роздых
И застят гибельное тло.

.....
Собрание воздушных древесных
Еще на солнце полно
Внизу и, реже, на вершинах.
Так видны волны
Глубокого эфира голубого,
Бегущего перстами,
Загребая легкий жар
У изголовья,
И в ногах стоящего
Юницей благостыни.

Не каждому листу свое дыхание,
Пасомое на золотой уздечке,
Несомое услужливым пробором,

Но разом, разом
В гибельную гору,
Слепой рудник,
И не блестит порода,
На свет

Не вынута,
И сил подняться нет.

Но там, где припекло,
Еще есть запахи,
И целые березы
Плечи дня берут
В охапки желтые.

.....

Тогда и теперь

Она проходила несколько шагов, затем садилась на подставленный нами стул, отдыхала и снова вставала, чтобы потом опять немного пройти. Так за два часа мы добирались до леса.

Я не помню ее имени. Помню — беленькая. Помню бледную, вспотевшую матовость кожи лба, особенные глаза. Просто особенные и все. Если смерть всякий раз забирает самых лучших, значит я уже множество раз видел таких людей, а девочка из Перми — первая...

Все это было еще в ту пору, когда в кронах деревьев больших городов спокойно висели птичьи гнезда... Уверенно бежали легкие троллейбусы с деревянными кузовами, и большая война кончилась только несколько лет тому назад... Но так близко, что протянутая рука тут же касалась головы укороченного человека на деревянной коляске с шарикоподшипниковыми колесиками...

У них не дом, а избушка на курьих ножках. Пол в огромной и единственной комнате намыт так, что просвечивает. А под полом никакого фундамента — только пяток деревянных подпор и потому великая свобода для детских забав, особенно в дождливую погоду...

Русская печь, походившая на дом в доме... Возле окон добела выскобленные лавки, такие могли быть только в старинных сказках... Никаких зеркал, безделушек, шкатулочек, всего одна кровать, а в самом углу множество вбитых в стены гвоздей, которые вместо шкафа... По комнате ходили только босиком.

Было ей лет двенадцать-тринадцать. Но по сравнению с нами, с восьмилетними, казалась она вполне взрослой... Наверное потому, что часами просиживала у окна, или же с великим трудом, задыхаясь, выбиралась на крыльцо и смотрела, смотрела, смотрела...

Не помню ее разговаривающей, но каким-то шестнадцатым чувством отгадываю, отщипываю от того времени ее ласкающую каждую букву, мягкую, видимо украинскую, речь...

Все знали, что она умирает, и никто точно не знал, когда она умрет. Тогда я впервые ощутил стыд за свое веселье и здоровье в компании людей, которые уже начали отсчитывать обратные километры... Может быть, как-то так непонятный вор подозревает чью-то прозорливость и уже мечется под буравящим взглядом, которого, возможно, и нет...

У нее два младших брата: один ходил без штанов, второй уже зарабатывал денюжку подпаском... И мама у нее в черном монашеском платке до бровей, а летом за одним из ее окон маленькое картофельное поле... Мы прятались в высоченной ботве, а она, девочка, имени которой я так и не вспомню, смотрела на нас и светилась в ней всегда маленькая звездочка надежды, которая называлась городом Ленинградом, в котором ей когда-то должны были сделать сложнейшую операцию на сердце... Так же печально горят свечи в лампадах, горят себе и горят, и потушить их нельзя, и горение коротко...

В то же лето на волжском пароходе умер горбатый человек, плывший с дочерью в каюте рядом с нами. На какой-то маленькой пристани носилки с его маленьким телом сняли с борта... За носилками шла дочь, русоволосая девочка, старше меня лет на пять... Меня почему-то особенно волновал горб под простыней... Это было ощущение чего-то чужого и неприятного на собственном теле... Или сострадание к девочке, к ее тоненькой, напряженной спине, непременно уносившей на себе тревожные глаза всего парохода?

Не помню лиц, голосов, состояния неба над головой... Только вот эти вот две первые встревоженности души..., моменты, когда смерть и первая детская влюбленность, пусть совершенно неосознанная, соприкоснулись...

...Когда уже теперь, совсем недавно, чужой женский голос из телефонной трубки поведал мне, что полгода назад, в больнице, умер один из главных друзей моего детства... — я оторопел...

А можно было и так начать мою последнюю печалинку. Где-то в старом районе города случайно встретились два человека средних лет. И когда, поговорив несколько минут, разошлись они в разные стороны, пожав на прощание руки, женщина одного из них, нетерпеливо ожидавшая невдалеке, спросила из простого любопытства: «Кто это?»

«Да так, — ответил он, — жили на одной улице, росли на одном дворе, учились в одном классе, вместе играли в баскетбол в одной спортшколе...»

С первой мысли о смерти детство покинуло меня... Чтобы вернуться через сорок лет, оттолкнувшись от мысли той же самой... Бывает ли так? А почему бы и нет, если так оно и случилось...

4 декабря 1992

Юные друзья ГАИ

Или гаишник сам пришел в нашу школу, или пионервожатая наша Таня, благодаря какому-то общегородскому призыву, сообразила-придумала задействовать в этой операции своих подопечных... не знаю. Только как-то Таня разбила достойных и желающих на тройки, выдала каждому по свистку и по красной повязке, проинструктировала и выпустила на просторы Васильевского острова...

Так мы с Генкой стали «юными друзьями ГАИ»..., я мог что-то напутать в названии нового течения, но все равно как-то так...

В нашу задачу входило наблюдение за пешеходами. Мы должны были не давать им переходить улицу там, где им того хотелось... А хотелось пешеходам переходить улицу в удобном для них месте, например, напротив булочной, или рядом с магазином, или у автобусной остановки... Мы с Генкой поняли это сразу. Мы уже через полчаса нашли на Среднем проспекте несколько наиболее «попадалных» мест... Девчонки наши, дурочки, стояли возле переходов, не умели свистеть и, конечно же, не понимали поставленной перед ними задачи: задерживать нарушителей и отводить их в милицию... А мы с Генкой тут же разрешили уйти домой толстому Игорьку, который ни рыба, ни мясо, и серьезно занялись делом.

Нашей первой большой удачей стал гражданин в шляпе и с портфелем. Задержанный на месте преступления, он сначала хотел дать нам по шее. Но, когда за нас заступилась громкая бабушка, когда эта бабушка решила вместе с нами отвести нарушителя в отделение, дядька этот сразу же замигал, замычал, посмотрел на часы, потом приложил руку к сердцу и начал усердно перед нами извиняться... Но было поздно, так бабуля эта сказала, и он пошел между нами, по пути предлагая нам с Генкой деньги, лишь бы мы его отпустили...

Но мы довели, и свидетельница дошла вместе с нами, и дежурный пожал нам руки, а дядька стоял красный, предъявлял документы, платил штраф и снова пытел и извинялся...

Вторая пойманная нами нарушительница при задержании уже сидела в такси, но Генка встал перед капотом автомобиля, а я схватился за дверцу, тогда тетенька рванула из муфты руку, мгновенно сунула мне что-то в карман пальто и, пока я соображал, что же все-таки произошло, дернула дверь «Победы» на себя... Сам черт не объяснит, почему отскочил Генка. Видимо, все-таки мало у нас еще было опыта в таких делах... А в кармане у меня оказалась трешка, и не понять, хорошо это или плохо, но я оглянулся вокруг

на всякий случай, а потом мы с Генкой перешли работать на другую сторону улицы...

Уже на второй день мы решили не водить задержанных в милицию, а разбираться с ними прямо на месте... Может быть, мы бы и продолжали водить, но уже через час нашего дежурства, кажется, на пятом случае, милиционер, который за загородкой, отозвав нас в сторону, сказал, что у нас должны быть свои, пионерские, способы борьбы с нарушителями правил уличного движения, а у него забот и без нас хватает, и бумаги ему писать хуже горькой редьки...

Я хорошо помню капитана первого ранга, который, выйдя из автобуса, тут же направился к своему дому по самому короткому пути... Мы еще ни разу не задерживали таких крупных капитанов... И были мы с Генкой тут как тут, и Генка первый подошел, и почему-то перед капитаном вытянулся... Не помню точно, может быть Генка даже руку к своей школьной форменной фуражке приложил? Но не заорал, хотя орать мы уже на новой своей работе научились... Ну а как не орать, если первое время от нас, неподготовленных, только отмахивались, и все наши вежливые обращения никакого эффекта не имели? Но с капитаном первого ранга так не поступишь, и Генка вытянулся...

Капитан первого ранга мелких денег для штрафа не имел и попросил нас подождать его у подъезда: он поднимется домой и принесет... А если не принесет? Мы именно так и подумали и направились вместе с капитаном... В квартиру мы не заходили, и через какое-то время моряк вышел вместе с женщиной, которая потребовала у нас квитанцию... Еще она спросила у нас, как мы отчитываемся за полученные от граждан штрафы? Генка сказал, что у нас все под честное пионерское слово. Капитан, стоявший тут же и совсем не такой уж солидный, как на улице, как-то очень тихо и виновато сказал ей, ну конечно же, Надя, конечно же... И женщина Надя открыла сумочку и вытащила из кошелька пять рублей, сказав мужу, что вообще-то ребята делают полезное дело, вообще-то...

Была середина сентября, автобусы и трамваи обгоняли друг друга, светофоры только успевали менять цвета, еще не было метро на Васильевском, а на каждом углу продавали мороженое, разноцветное, на палочках и без, и мы с Генкой теперь не гонялись за самым дешевым, как раньше, а покупали дорогой пломбир в золотой бумажке или сахарные трубочки, хрустящие, как счастье...

Как-то мы поймали таксиста, который вышел в ларек за папиросами. Генка почувствовал удачу первым и толкнул меня. Мы с великим наслаждением смотрели, как он перешел первую половину дороги, остановился у трамвайных путей, пережидая красный вагончик... Мы взяли его тепленького, с пачкой «Беломора» в руках.

Скорее всего он ошалел от нашей наглости. А Генка стоял возле него и свистел во всю Ивановскую... Таксист дал нам больше всех. Потом он сел в свой важный «ЗиМ» и еще долго притоптывал головой в такт своей глупости и нашей сноровки...

Как-то я чуть было не оштрафовал Генкиного соседа, но Генка, забежавший за нами в туалет, успел вовремя оттащить меня от него...

А вот две наши попытки сотворить что-либо с нарушавшими бабушками ничего нам не дали. Бабушки шумели громче нас и привлекали на свою сторону таких же бабушек, которые стояли стеной и не боялись никакой милиции...

Похоже, что больше недели развевались по Среднему проспекту наши пионерские галстуки, догоняя отмахивающихся нарушителей. На бегу вываливались из-под форменных ремней с буквой «Ш» на бляхах наши брюки и гимнастерки. Мы угрожали отделением, мы перешли на свист, заменивший нам разговорную речь... Нам совали трешки, пятерки, и мы, удовлетворенные, уносились в поисках новой жертвы...

Никто нас с постов наших не снимал. В школе просто забыли о полезном мероприятии, а мы с Генкой покинули свои точки сами, убедившись, что перештрафовали всех, кого можно было перештрафовать...

Затем быстро настала зима, настоящая, с горками, снежками и подарками. Наша пионервожатая Таня так и продолжала что-то придумывать. Но собирать бумагу и металлолом было нам с Генкой совсем неинтересно, а в гости к героям-полярникам или к старым большевикам ходили всегда одни и те же пять-шесть человек... Видимо, было все это в 57-м году.

С.Петербург 24.11.1992

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ТАНЯ!

Здравствуйте, Таня! Скорее всего, Вы не помните меня. Но письмо это все равно должно было состояться. Потому что раз сто за жизнь свою я принимался его писать... Оно не признание в любви. Мне не объяснить даже себе самому, что оно вообще такое... Итак, Вы меня совершенно не помните. Хотя почему бы Вам не попытаться вспомнить мальчика, учившегося с Вами в одном классе с 1-го по 6-ой? Я — Игорь Светлов, и определенно, что мы сидели за одной партой весь 5-й класс и тем же летом случайно оказались рядом на дачах, Вы у своей бабушки, а мы снимали...

Ваш дом стоял слева по пути поезда, наш справа. Еще около Вашего дома была чудная канава с головастиками, и служила она Вам как бы аквариумом, и мечтали Вы тогда стать зоологом или биологом, или как-то так.

Так уж получилось, что теперь живу я в Вашем доме, только во втором корпусе, и очень часто встречаю Вас на улице, и сразу же догадался, что это Вы, хотя прошло уже больше 30 лет...

Татьяна Евгеньевна сидела на кухне. Только что ушла в институт младшая дочь. Сигарета дымилась в руке у Т.Е. и странное письмо лежало рядом, и читать его было совсем не просто, а как-то таинственно и сказочно, как не бывало давным-давно... Она вспоминала очки, торчащие на макушке волосы... Нет, волос, торчащих на макушке, не было. Точно только очки. Она полезла в шкаф за старыми фотографиями. Очкариков в пятом классе было трое... Она снова вернулась к письму, повторив все сначала.

Я не помню Вашего лица тогда. Но во мне до сих пор ясно звучит его тональность. И дали бы мне, играть не умеющему, сесть за рояль, я сыграл бы Вашу тональность без особых раздумий, и исходила бы она из правой половины клавиатуры, очень тоненько и чисто.

Вы были отличницей, Таня. А у меня и двойки водились, и никого это не удивляло, и никто не говорил о моих способностях и о моей лени... Я не списывал и не учился, но не в этом дело, не потому я Вам пишу.

Знаете, у каждого человека бывает минута, когда он как-то таинственно вздрагивает от предчувствия... В моем случае это предчувствие последней встречи с детством, и человек, через которого я с ним прощаюсь, — Вы, Таня.

Раз или два в год в школе непременно появлялся фотограф. Класс приводили в актовый зал, размещали на разновеликих скамейках, учительница чаще всего сидела в первом ряду, на стуле, вокруг нее стояли самые высокие, в других вариантах самые любимые ученики... Потом какая-нибудь мама из родительского комитета собирала деньги...

Мальчики в одинаковых мундирчиках, девочки в форменных платьях и в белых передниках. Непременно кто-нибудь вляпывался сюда и в черном, словно не знал, какой сегодня день... Лица похожие, и глаза очень похожие. Татьяна Евгеньевна смотрит фотографии. Она уже не ищет Игоря Светлова, просто память включилась...

Вы только не подумайте, Таня, что я собираюсь надоедать Вам своим общением. Знаете, мы можем и не встречаться, просто я иногда буду видеть Вас со стороны, и Вы не будете догадываться, что я это тот самый...

Татьяна Евгеньевна бродит по квартире. Пару десятков лет тому назад, когда они с мужем эту квартиру получали, она казалась им огромным и прекрасным раем. Теперь снова получилась коммуналка, потому что старшая дочь развелась и вернулась домой с двумя детьми... И у них с мужем теперь всего лишь своя комната. По своей комнате у дочерей... По утрам трудно попасть в ванную. По телефону к ним не дозвониться... Еще Т.Е. подумала о том, что со сменой девичьей фамилии в ней тогда много изменилось, а она до сегодняшнего дня этого как-то и представить себе не могла... Словно поставили перегородки в огромной и светлой комнате... В новом варианте тоже есть светлое место у окна, но оно с того самого дня принадлежит не одной тебе...

А Вы, Таня, помните нашу Полину Григорьевну? Я тогда долго был влюблен в нее. Я так мечтал ей понравиться! Я даже хотел стать героем и спасти ее... И сейчас не смешно. Ведь ничего страшного, если мужик возьмет и поплачет когда-нибудь, а, Таня?! Я буду писать Вам, даже если Вы мне не разрешите... А про себя, ну что же? Я — отставной офицер, одинокий пенсионер, у которого взрослая дочь с проблемами в другом городе.

Может быть, он купил бутылку, выпил и вдруг завспоминал? И так ему стало плохо, и тут, случайно выйдя из дому, он встретил меня с сумками на подкошенных ногах... Узнал, где я живу, и написал, тем более, что мы оказались соседями?.. А я его не помню, хотя на даче было много встреч, и бабушкин дом был замечателен, и канава с головастиками была... Но сейчас даже не в нем дело. Он, как толчок в автобусе, ты начал засыпать, а тебя толкнули и проснули...

А помните, Таня, поездку нашего класса на речном трамвайчике в Невский лесопарк? Это было после выдачи табелей, в мае, когда между учителями и учениками устанавливаются неуставные отношения летние, что ли... Я скорее всего как-то не так объяснился, но Вам, надеюсь, понятно и знакомо это короткое время нешкольных общений, я очень любил его. Девчонки роились возле учительницы, перебивали друг друга, да и мальчишки то и дело встревали... Ремешки спущены с форменных фуражек на подбородки, чтобы не снесло ветром, все мы на верхней палубе, все безмерно счастливы... А за месяц до этого в параллельном классе умерла девочка. Расковыряла нарыв и умерла, и вся школа притихла, а вот теперь праздник и сладко.

Татьяна Евгеньевна курит. Вспоминает, что надо бы постирать... Остались два случайно свободных дня... Муж на работе. У нее самой с работой так гадко, что не хочется вспоминать... Ну какой она к черту экономист?

И вспомнила Таня учительницу ботаники Мину Филипповну, черненькую и маленькую, как букашечка..., которая любила старательную и аккуратную Таню Хантулеву больше всех в классе... А началась любовь эта с пророщенной лучше всех картошки. Это был их первый опыт, каждый должен был сделать его, а вот у Тани получился он лучше всех.

За окнами уже желтело между зеленым, и на балконе стало неуютно, и пришла странная мысль, что двери на балконе вовсе нет, просто обычное окно, а сам балкон как искусственная подвеска, штучка для красоты, кто заметит, тот и посмотрит... И еще разные глупости полезли в голову Т.Е., раньше бы она хохотала над ними и отвергла бы их, как шальную безрассудность, давно чуждую ей.

А может быть, я был влюблен в Вас, Таня? Иначе почему так долго помню Ваши тонкие косички на худенькой спине, и Вашу руку, вскинутую над головой школьного озорника с задней парты, посягнувшего на эти косички? Нет, Таня, что-то было. А бабушка Ваша поила нас чаем на веранде, и я стеснялся добраться до печенья... Пусть будет, что так оно и было, это даже очень здорово, от этого теплота особенная, душа отогревается.

Письмо на том и заканчивалось, и потому получалось бесконечным, и Т.Е. поняла, что мужу его не покажет... И положит его рядом со школьными фотографиями, и ей уже хотелось, чтобы письма были еще...

Корпус 2 был виден из их окон. Скамейки возле подъездов, старушки на скамейках, рядом со старушками бормотушники, хоть и сорняки, но необходимые почему-то? Не успел заселиться их «хрущевский» дом, как выползли привезенные бабушки, а уже через несколько лет появились бабушки свои, доморощенные... Вот и я скоро к ним выберусь... Никуда не денусь, выберусь как-то и привыкну потом.

Проходили обычные дни. С утренней беготней и вечерним отливом. Между которыми магазины, очереди, служба. Сумки били по бокам по дороге от метро к дому, а универсам, ближайший и самый противный, все равно гипнотизировал и закапывал часа на полтора, в любом случае, как ни старайся...

Но теперь на этой суровой муторной дороге она искала его... Ей было интересно и страшно почти как в детстве, почти как в подвале их старого дома, когда они всей гурьбой играли черт-те во что, во всякое и разное. Она присматривалась, она искала человека в очках, почему-то в шляпе и с галстуком, виднеющимся между лопастями шарфа. Она сначала не допускала, что он может стоять у пивного ларька. Но и у пивного ларька стояли ею предполагаемые, и они пошатывались, и их отыскивали жены с грозой во взгляде... Потом она решила, что все может быть и нужно просто ожидать любого,

даже в ватнике, но в очках... Нет, он не встретился ей. Хотя, наверное, встречался каждый день.

Как-то в субботу она увидела похоронный автобус возле второго корпуса. Обе двери подъезда были распахнуты, на асфальтовой дорожке между стайками кустов стояли любопытные старушечки из местных. Шофер уже открыл задний люк, гроб вынесли военные. За гробом шло еще человек десять... Татьяну Евгеньевну дернуло током. Ей показалось, что она вот так вот нашла его... В голове ее запрыгали какие-то почти компьютерные игры, из которых складывалось, что то письмо звало ее на помощь, а она не пришла.

Она заплакала без слез где-то там внутри у себя и вышла на улицу. Автобус уехал, стайка старушек, зашевелившись, расходилась...

Своим собственным голосом ни у кого спросила она о покойнике, и никто ответил ей, что вот сын приезжал хоронить мать. Жил где-то там, а вот хоронить приехал и то хорошо.

Что-то печально-радостное, как колокол, зазвенело в ней. Она не могла улыбнуться, потому что смерть только что была вот тут вот, рядом... И ей очень хотелось улыбнуться, ибо на этот раз не попала смерть в близкого человека... не разлучила с ним на какое-то время...

На следующее утро во Владимирском соборе поставила она тридцать с лишним свечек одноклассникам, живым и ушедшим. Я пишу тридцать с лишним, потому что никто кроме Бога не видел ее в этот момент.

13 июля 1993

Александровка под С.Петербургом

ФИЗИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ (МУЗЫКАНТ)

— Я прошу вас привести несколько примеров физических явлений. Ну, смелее? Ты хочешь ответить, Герасимов?

— Дождь. Снег. Град. Ветер.

— Ты совершенно прав, Валера, садись. Ну, а еще кто? Коля Петров? Прошу.

— Стул сломался (в классе действительно только что сломался стул...)

— Совершенно верно, Коля Петров, сломавшийся стул настоящее физическое явление, и с юмором у тебя все в норме...

...Это было в самом начале изучения физики. Кажется, в шестом или в пятом классе, а потом, через 25 или почти столько лет, мчал

по дождливому, утреннему городу дребезжащий троллейбус, с плохо закрывающейся дверью, совершенно точно, что задней... И лицом к заднему, огромному окну сидел похмельный человек с лицом, полным отвращения ко всему-всему-всему и к водке, наверное, тоже. Мгновениями он пытался чертить всякую чушь по запотелому стеклу, но оно упрямо, тут же, замазывало его рисунки стойкой краской разницы между тем, что тут, и тем, что там... Еще он прижимался лбом к холодному стеклу, но троллейбус качало, и раза два он добавил скрежета в придачу ко всему выше рассказанному...

Начало попыточки вроде бы состоялось. Тот самый Коля Петров ехал в утреннем троллейбусе, и было это тоже физическим явлением, жизнь продолжалась, бутылка водки лежала в цветастом пакете и несколько человек стояло к Петрову спиной, и одна спина, вдруг, что-то напонила... Так бывает часто, всего какой-то штришок, поворот головы или губы, губы в тот момент, когда одна губа вроде бы случайно потрется о другую...

А тут спина... Как и что рассказать о ней, о спине? Что может быть особенного в спине? Разве что только горб? Но на этой спине горба не было. Мало того, эта пожившая свое спина еще и взлетала у самых плеч, как птицеподобная, чем, наверное, и напонила что-то похожее, не раз уже виденное...

На старом человеке со знакомой спиной сонно висел мокрый тапешник (Коля Петров с юношеских пор только так называл плащи...), коричневая шляпа с обломанными полями напоминала шляпку сморщенного гриба, совершенно точно не поганки... А вот брюки из-под плаща не выглядывали гармошкой, как кому-нибудь хотелось бы дофантазировать... Все дело в том, что из-под плаща выглядывали простые тренировочные штаны, стянутые на ступнях бретельками...

Обувь Коля Петров рассмотреть не успел. Не дал ему это сделать вдруг повернувшийся к нему старый человек. Очки с толстыми линзами опытно задергались на тонком, мокром носу и поднялись к глазам до нужного уровня, и тогда Петров мгновенно узнал этого человека: перед ним стоял Виктор Федорович, их учитель физики, а кроме того еще и руководитель школьного самодельного хора...

— Вы не узнаете меня, Виктор Федорович?

— Ну как же, как же... Но я, знаете ли, стал иногда забывать имена... а так, визуально, я, конечно же, прекрасно помню Вас...

Вот ведь дела. В нем это самое «Вас» даже всего лишь произносимое, само как-то магически звучало с большой буквы и уже уважало тебя... Он не помнил Колю Петрова. Но все Коли Петровы всегда были для него его собственными детьми, как сама жизнь со всех ее сторон всегда была его собственной жизнью... А троллейбус шел по Большому проспекту Петроградской стороны, и

старый учитель собирался выходить возле аптеки. Он так и сказал Коле, т.е. теперь уже Николаю Владимировичу, и тот, почему-то, решил выйти тоже...

Они и вышли вместе, и Николай Владимирович Петров по пути к аптеке, куда, собственно, ему и не нужно было и куда он никем, собственно, и приглашен не был, все думал, а не предложить ли физику по граммулечке, что он не мужик, что ли? А физик поднялся на аптечное крыльцо и обернулся, он тоже о чем-то мучительно думал, только о своем...

— Я подожду Вас, Виктор Федорович, можно?

— Подождите, Коля, если можете, я быстро, мне без рецепта.

Вот ведь, подумал Петров, столько лет прошло, а какая-то большущая робость перед всем тем школьным осталась... И в институте похожее происходило, профессоров, как милиционеров в детстве, боялся... И чего в этом больше, страха или уважения? Это в похмельной-то голове такие серьезные мысли?! Коля Петров стоял возле аптеки и ждал физика, и учитель появился и сначала почесал затылок под шляпой, а потом заерзал, как в момент особого желания по техническим причинам...

— Ах, Коля, Бог с ним с этим всяким приличием. Одолжите мне, пожалуйста, копеек 60! Возможно такое?

Город просыпался во второй раз. Сначала он проснулся с работягами, сюда же входили и служащие, которые почти работяги, и школьники, которые работяги будущие... Теперь город просыпался со всеми остальными, включая тунеядцев, пьяниц и поздних стариков: в магазинах очереди появились, в домах в каком-то антишахматном порядке стал гаснуть уже ненужный электрический свет. А возле пивных ларьков, которые тогда еще никто не трогал, заворочалась особая жизнь, которая почти без перевода... Что-то было еще. Это самое «еще» существовало со всех сторон, как второй план любой жизни, любого города, человека и существа. Называясь вторым, он, этот план, на самом деле был самым первым, но кто-то важный ни за что не хотел этого признавать...

— Ну вот он и я, Коленька. Кажется, я недолго. Платишь деньги, получишь лекарство, идешь болеть...

— Вы уж извините меня, Виктор Федорович, мы тут вчера с приятелями немножко переборщили... знаете, как бывает... Ну и сегодня хорошо бы мне немножечко поправиться... Вы бы не составили мне компанию? Вы уж извините меня за такое, но так вот оно само вышло...

— И Вы так долго терпели, мой милый! Что же это Вы сразу мне не сказали. А я-то, дурак старый, сам догадаться не смог. Но у меня, знаете, все несколько сложно. Я ведь подобную свою боль по бедности и пенсионности аптечными средствами утоляю... Но

спасают. Представьте себе, прекрасно спасают! Сейчас я Вас приведу к себе домой и снова сделаю всемогущим человеком. Пойдемте, родной мой, здесь рядом.

— Виктор Федорович, да ведь у меня с собой непочатая бутылка «экстры». Я Вам говорю-говорю, а Вы меня не слышите...

— Это, Коленька, от огромной моей нынешней удачи. Сначала ночью не умер, потом вот Вас встретил, затем денег нашел, а теперь вот еще и бутылка водки, которую я, представьте себе, с полгода не пил.

Они шли сквозь серые подворотни, выходили из них и снова попадали в такие же. Их сжимали в недружеских объятиях уставшие от коммунальной возни ветераны-дома. Они шли. А вокруг них шел запах огромного города, того самого, которого ничем и никогда уже не удивишь. И лифт был, и было состояние, что вот в эту вот минуту лифт этот навечно замрет, чтобы никогда больше не встрепенуться... и каждый из них, почти в унисон, подумал в эту минуту, что в таком случае нужно будет тут же выпить водку.

Сначала щелчок замка, потом коридор и еще один щелчок, теперь уже допотопного выключателя, за всем этим две двери, еще дальше вонючий плацдарм кухни с тремя насестами столов, и только потом незапертая дверь и пианино у окна, и два стула, и матрас в углу, и пепельница с окурками. А на крышке инструмента чайник, пара стаканов и смрад, как физическое явление...

— Вы уж не обессудьте, Коленька, так вот и проживаю уже несколько лет и, знаете, почти привык, только иногда мучительно не хватает накрахмаленной белой рубашки... А музыка рядом, и вполне приличный инструмент, и книги беру у приятелей, а то, что выпиваю, то это, простите, только мое личное дело. У нас еще две старушки в квартире и больше никого, только кошки... Сейчас я сполосну стаканчики и хлебца нарежу, и студень еще за окном есть.

— Виктор Федорович, а Вы помните наш хор? Мне иногда какая-нибудь из тех песен к небу пристанет и весь день ее не согнать. Помните, «бывали мы в Италии, где воздух голубой, и там глаза матросские туманились тоской...»? В хоре тогда одна девочка пела, я из-за нее к Вам и пришел... Она старше меня года на три и выше на полголовы, представляете, Виктор Федорович, каков был прекрасный кавалер! Одно меня и спасало, что стоял я на последней скамейке, и потому был на сцене даже чуть выше ее...

А Виктор Федорович уже разлил по трети стакана, и водка прошла вполне нормально, во всяком случае никто из них не бросился на кухню, к раковине, а сидели они на табуретках возле пианино и разговаривали, и, конечно же, перебивали друг друга, и многое не помнили сообща, а помнили как бы вразнобой, но

говорили, говорили, путая имена, фамилии, и пьянели потихонечку, и комната Виктора Федоровича становилась то больше, то меньше, то вообще куда-то взлетала, а то опускалась, как бы отвязанная...

— Я, Коленька, теперь только один жить могу, так вот. Да не беспокойтесь Вы Бога ради, я в магазин и один могу сходить, а Вы пока отдохните, матрац-то у меня чистый, это только кажется, только кажется...

Темнело за окном, но словно кто-то привязал Петрова к разваливающемуся табурету, и он доставал деньги, а старый физик ползал в магазин, и еще они говорили каждый о своем, а потом вместе снимали с крышки инструмента всякую всячину, а еще чуть-чуть потом Виктор Федорович ничего не смог сыграть... Только сидел и плакал, как маленький, и все говорил про какую-то Веру, которая никогда имени своего не заслуживала... Сначала вроде бы и заслуживала, а потом сразу же заслуживать перестала... В комнату раза два заходила старушка в распахнутом халате и садилась к учителю на колени, и пыталась петь, но только пила и тоже что-то рассказывала, и Коля Петров зачем-то пытался ее поцеловать..., вроде бы за трудную и святую жизнь? Еще Коля Петров помнит, что будто бы, когда стало уже совсем темно, по крыше, которая висела под их окнами, забарабанил дождь, мягко так забарабанил, совсем по-питерски, и они зачем-то открыли окно, и дождь этот вместо музыки слушали. Раз сыграть не получилось, так пусть сыграет им сегодня хотя бы дождь...

А проснулся Николай Владимирович на учительском матраце только на следующее утро и увидел нечто, встречающееся, мягко говоря, не каждый день... Старый физик и руководитель их школьного хора лежал ничком на животе у полуоткрытого окна... Правую, открытую, фрамугу подпирала длинная, облезшая швабра, один конец которой, тот самый, что без щетины, покоился в руке старика... А между левыми половинами оконной рамы была насыпана какая-то крупа...

Когда Виктор Федорович заметил, что Николай проснулся, он тут же свободной рукой сделал ему предупреждающий знак... А потом хриплым таким, треснутым шепотом почти пропел ему: «Голубков на закусочку заготавливаю...»

А крыши и подоконники еще не просохли после ночного дождя, и можно было заметить, как идет этому странному городу все дождливое и блестящее, и еще подумалось, что напоминает все это вариант женской косметики... Просто серые мраморные плиты — только хороши, а орошенные дождем — уже прекрасны...

А два голубя в это время зашли между фрамуг и тут же, моментально, взлетел вверх вместе со шваброй встрепенувшийся физик... И вместе с ним взлетело и захлопнулось окно...

— Я Вам вчера, Коленька, ничего такого пакостного не говорил? Про Веру? Ну, Вера — сваяга женщина. Вытаскивала меня, вытаскивала... Я, знаете, как-то странно с рельс сошел. Выпивал и думал, что никакой я не пьяница, что в любой момент остановлюсь... А оказалось-то, что меня уже тогда начало нести без тормозов... А она понимала и грудью под мои колеса ложилась... Святая женщина. А Вы-то как, Коля?

Вроде бы они вчера обо всем этом не переговорили? А сколько же ему лет сейчас?

Кошка вошла. День начался. Кошка счастливая, трехцветная, ходит по углам пустой комнаты, трется боком о стены, словно сантиметр за собой таскает... На последнюю бутылку наскреб по карманам Коля Петров, Виктор Федорович быстренько сбегал...

Вчерашняя старушка принесла в белой кастрюльке голубиный суп и села есть вместе с учителем, а Коля Петров сидел и смотрел на них, к голубям в тарелках он пока еще приучен не был...

Может быть, рассказчик пропустил несколько важных фраз и подробностей. Может быть, ему, рассказчику, чуточку не повезло с моментом, может быть... Но память человеческая тем и ценна, что у каждого в своей тональности и со своими головоломками...

А Коле Петрову предстояло еще и уйти из этого дома, и это было не легче, чем пытаться обо всем об этом рассказывать.

23 сентября 1993

С.Петербург

ГОЛУБОЙ МЛАДЕНЕЦ

Осень, несмотря на всю мою любовь к ней, напоминала мне на этот раз допотопный мотоцикл, приведенный в относительный порядок каким-то народным умельцем... Она простреливала, дымила, шуршала, шелестела, текла, как никогда раньше, при мне.

Электричеством всему творящемуся был ветер, который, проносясь по нашим геометрически правильным улицам, задевал все лежащее, стоящее и идущее...

Я сидел в сквере похмельный, небритый, злой. Я прятал шею в воротник плаща, а она выскакивала оттуда, как несчастная пипетка из плохо зашнурованного мяча моего детства... Это было и противно, и смешно, и одновременно спасительно, потому что как бы иначе сумел я отдышаться там, в плену шарфа и того самого воротника?

Я сидел совершенно один и смотрел, как опавшие листья, практически потерявшие цвет, состязаются наперегонки, парами и пятерками, и в полете, и волоком, и просто так. Изредка сквером

проходили люди, но шли они торопясь, так брезгливо они шли, что без переводчиков понятно было, сколько неприязни и раздражения вызывает у них погода, обрушившаяся на всех нас.

Но какой-то тип в шляпе сел рядом со мной, щелкнул замком портфеля и, не спросив у меня согласия, стал показывать мне фотографии, которые совершенно меня не интересовали...

«Вы видите, какой подбородок у моего младенца? Неужели Вы не замечаете, что это мой подбородок? Посмотрите, та же напряженность и убежденность! Уже сейчас совершенно понятно, что мой младенец неординарен! Что у него будущее! Что он — мой младенец!»

Ему было совершенно наплевать, что я его не слушаю. Кажется, он даже не смотрел в мою сторону... А идти мне было совершенно некуда и, несмотря на отвратнейшую погоду, я и не думал вставать и тащиться в какой-то шум, к какому-то теплу... Пусть говорит, подумал я и закурил сигарету, и затянулся по-настоящему, хотя, вообще-то, курю очень редко...

«А вообще-то, Вы могли бы и поздороваться...» — чуть позже сказал он мне и ко мне повернулся, и не узнать его стало просто невозможно...

Кажется, в девятом классе он несколько месяцев преподавал у нас математику. Я запомнил его по плавающим зрачкам... Можно же представить себе отпущенные на вольное скольжение зрачки? Достаточно незаметного поворота головы, и зрачки поплыли... словно определенные в специальный раствор... Такой существует, только забыл я его название... По глазам казалось, что он где-то в другом мире... Но вдруг что-то случилось, и зрачки останавливались, как вкопанные, и внимательно смотрели на тебя...

«Знаете что, я приглашаю Вас пообедать со мной. Тут совсем рядом приличная столовая с официантками (он имел в виду «Лондон» на углу Среднего и Восьмой), времени много это у нас с вами не отнимет, а отказываться Вы, по-моему, и не собираетесь...»

Он не разговаривал, а почти гавкал. Он взрыхлял, рвал, накусывал фразы, и ему совершенно не было жалко их... Ко всему прочему, он был страшным образом уверен сам в себе и безусловно не терпел возражений... «Наверное, ему довольно часто били морду в детстве?» — подумал я тут же, без особых потуг... Но пошел вместе с ним, так и продолжая молчать, что его совершенно не интересовало...

«Может, он запомнил, каким бездарем был я в науке математической, и потому с таким явным пренебрежением относится ко мне?» — думал я и смотрел, как он вытирает бумажной салфеткой быстро принесенные официанткой вилку, ложку и нож. И

еще я думал, что он напоминает мне не только учителя математики, проработавшего в нашем классе несколько месяцев...

«Я думаю, что водки Вам совершенно не хочется, — продолжал всю ночь издеваться надо мной, — но меня это не интересует, я хочу заказать Вам водки, потому что сегодня, по сути, мой замечательный день».

И тут я вспомнил, кого он так напоминает мне! По Невскому ежедневно фланирует знаменитый «голубой». В черном костюме «тройка», в высокой, куполообразной шляпе, шелковое поднебесье которой, скорее всего, вытолкнуто вверх всей пятерней...

Он при «бабочке». При нем ранняя седина и такая особенная интеллигентность, похожая в его случае на какую-нибудь жеманную статуэтку... И вот этого достопримечательного человека, между прочим, надо всего лишь чуточку подкачать насосиком, как спустивший футбольный мяч, чтобы вместо него тут же возник мой нынешний благодетель...

Официантка принесла мне 200 грамм водки... Мы ели селянку. Потом поджарку, и он все говорил, говорил и говорил, и мне оставалось только просто не мешать ему...

А память моя продолжала лихорадочно крутить только что вспомнившиеся моменты, и я с радостью откопал в ней, что тот самый «голубой» всегда носил красную гвоздику в петлице своего костюма... Разве так уж несущественно это?..

«Я ее издалека привез. Она у меня тихая и молодая. Она мне такого младенца родила, 4200! Где вы такую найдете, неиспорченную?» — он не пил водку, чем доставил мне особенное удовольствие... Но он говорил, говорил и говорил, и это было его водкой, его наркотиком и силой.

«Пусть она родит мне еще трех таких младенцев. С каждым из них исчезает частица нашей двадцатилетней разницы... я все подсчитал...» Он плевать на меня хотел. Ему сейчас нужен был абы кто. А я подвернулся...

«Пойдемте ко мне, это тут рядом. И я покажу вам жилище думающего человека. И налью, чтобы вам не казалось, что мне совершенно наплевать на вас».

И я пошел, халявные варианты и тогда встречались нечасто, а потом он заслуживал внимания, может быть, как будущая хохма в кругу приятелей, а может быть, просто как совершенно сошедший с ума человек.

Серый дом на 10-й линии, огромное парадное, широченная лестница, а в самом ее начале почти уже заросшее, но приметное до сих пор, обязательное в таких случаях, место консьержки, с камином, словно запаянным... А в квартире моего благодетеля не пахнет пеленками и никто не встречает и не просит поскорее

закрывать дверь, чтобы не было сквозняка... А он так меня чувствует, что мне страшно делается, хотя я плевать на него хотел, если думать как следует...

«Младенца моего здесь и быть не должно. Они у меня живут отдельно. А я с мамой тут и никому свою эту конуру не отдам. А субботу и воскресенье провожу с семьей, и если что-нибудь срочное, моментально приеду... Тут ко мне ученики приходят. Потому что приходится давать частные уроки...»

У него в комнате старинный стол с зеленым сукном и бронзовым письменным прибором. Ширмой закрыта узкая тахта. Зеленый халат брошен на вольтеровское кресло. Очень много распахнутых книг, и бархатные портьеры на больших окнах, и он в доме своем как бы еще больше набухает уверенностью...

А память моя вдруг новый фортель выкинула, и снова высветилась передо мной высокая, худая фигура популярного «голубого», который ко всему прочему постоянно носил тонкие простые перчатки, чаще белые, иногда черные, и увидел я, словно сейчас, его вытянутую в приветствии длинную руку, обтянутую перчаткой, что, наверное, было особым шармом и чем-то еще более значительным...

Итальянский вермут в красном фужере. А вдруг этот черт сам с какими-нибудь отклонениями? Напоит, подсыпет... Но мелькнувшая было мысль не прижилась во мне. Слишком близко, слишком наискосок жили мы друг от друга. Да и достаточно народа видело нас вместе сегодня... Да и не пьян я ни капельки, и справлюсь я ним без всяких вариантов...

А он в это время вытащил из объемистого портфеля своего пачку фотографий в черном, хрустящем пакете, и снова стал рассматривать их, и тут же переворачивать в мою сторону, совершенно не ища никакого моего подтверждения чему-то:

«Каков младенец, а?! И подбородок совершенно точно мой! И глаза какие сильные. Вы чувствуете, какие у него сильные глаза?..»

«Он — типичнейший маменькин сынок...» — подумал я. Мне снова показалось, что сверстники дубасили его с особым удовольствием. Мама, наверное, не отдавала его в детский сад по какой-то такой причине... А в школу он пошел, и учился прилежно, но ребята ненавидели его... И девочкам не нравилось его высокомерие... Я могу быть в чем-то не прав. Я просто фантазирую на его счет... То же самое, может быть, делает со мной он. Но немного увереннее... Хотя, скорее всего, он ничего не думает на мой счет. Он уже здорово научился не обращать внимания на лишнее...

«Сейчас я прочту вам пару басен Крылова и провожу до двери. Ничего не поделаешь: через 20 минут у меня урок. А вы много пьете.

Минуточку, я налью вам на дорожку. Я понимаю... Ну, а теперь слушайте Крылова».

И он стал читать мне Крылова. И прочитал две басни наизусть. И относился, видимо, ко мне подтекст этих басен... Но я ничего не помню, прошло столько лет...

А тогда у меня, скорей всего, уже заканчивалось топливо общения, и он, таинственным образом, видимо, почувствовал это и распахнул передо мной дверь своей крепости... Иначе все могло бы завершиться совсем гадко. Я бы просто вмазал ему за подтекст, если он был...

Вот, собственно, и вся история двадцатилетней давности. Чутьочку засвеченная по краям, немного дофантазированной... Но память-то не железная, господа! Вот ты растишь ее на сковородке, как яичницу, чтобы потом лопаточкой специальной донести до тарелки... А она возьмет и подгорит по краям... И никакой тебе реставратор не спасет подгоревшее... Его у тебя больше нет. А остальное, когда-нибудь, непременно подгорит тоже... Вот и у меня из всей этой истории самое значительное уместилось в одном слове ударенного пыльным мешком математика... Он почему-то называл своего сына, своего Сашеньку, Петеньку, Серегу — младенцем... Не знаю почему теперь мне так противно это слово? Может быть, если бы он тогда хотя бы однажды заменил его другим...

1 октября 1993
С.Петербург

Валентин Бобрецов

И.М.

* * *

Ни знамен приспущенных, ни барабанной дробы.
Лишь в полуподвале, распугав всех птиц окрест,
песню допотопную про новые дороги
нудно репетировал любительский оркестр.

Дождь месил асфальт, кичась кондитерской сноровкой;
возле был разбит (иначе и не скажешь) сад:
дюжина дриад, попарно связанных веревкой,
гниды гнезд вороньих в серых ветках-волосах.

Их жильцы, одетые в природой данный траур,
каркали ворчливо, как и должно в ноябре,
а толпа трудящихся, труся по тротуару,
у пивной раздваивалась, походя на бред.

Небо чуть угадывалось там, над головами,
где облезлый лозунг мокро хлопал на ветру,
где неслись галактики, которым несть названья.
Было воскресение. Был день, когда умру.

Баллада

Мой век на всех парах со скоростью экспресса
катился под откос.

А я уже бежал по насыпи вдоль леса
через какой-то мост.

Откуда взялся он? И что это за Волга?
Припомнить не могу.

Неужто проезжал? Но разве я так долго
готовился к прыжку?..

Испью-ка я реки! — с отвычки задыхаюсь,
бурна и солона.

Аттическая соль и первозданный хаос, —
ах, вольная волна! —

до капельки ее слизав с ладоней пресных,
я поднимаюсь в рост.
И отряхнув с колен прах скорых и курьерских,
я забываю мост.

Я забываю все. Возле капустных кладбищ
и домино домов —
кудлатый черный пес... Зачем, дружище, лаешь?
Ты лучше бы помог!

Недаром шерсть твоя горелой пахнет серой,
а пасть полна огня,
и если ты не сыт овсянкою оседлой, —
полцарства за коня!..

И кажется, он вял. И поотстал, как будто.
И поостыл, сердит...
И стрелка. Вроде, та. И переезд. И будка,
где стрелочница спит.

(И только иногда — светла, простоволоса —
в окошко поглядит.
И снова пропадет. А жизнь моя с откоса
на всех парах летит).

— Вот ты мне и нужна! — толкаю дверь без стука.
Из темноты в ответ:
— И ты, дружок, за ней? Пропала эта сука,
Простыл давно и след.

— А больше хочешь знать, так спрашивай у ветра.
Ищи-свищи, изволь!
Да только не забудь, что станция от века
зывается узловой!..

И прочь я уношу чугунные две гири
и голову-топор.
Мга. Тосно. Бежецк. Дно. Веселые какие
названья у платформ!

Каретный музей

Лестничные марши отрывали.
Щелкнула щеколда, как затвор.
И Политбюро тремя рядами
на меня уставилось в упор...

Не пойму, ну что открыли варежки,
как на неприличное кино...
Ладно, вольно... Здравствуйте, товарищи!..
Здравствуйте — не виделись давно...

* * *

Двери, как гробы, стоящие стоймя.
О, какой же некрофил их вырыл!..
Если умирать или сходить с ума —
только это место я бы выбрал.
Что за трупоблуд надумал их лишить
умиротворения загробного!..
Если умирать... а если жить...
Я не знаю, я еще не пробовал.

* * *

Из моей комнаты без окна
открывается вид на пустырь души,
где петербургская лжеглубина
помножена на московскую псевдоширь.
Эта плоскость отмечена высотой
приблизительно — от небес до недр.
Здесь, согласно слухам, Бог свил гнездо.
Но, скорее всего, никого в нем нет.

Я слышу голубя иных потоков.

Дж. Унгаретти

Белый голубь свежести непервой
меж камней, под окнами, внизу
прорастает, брызжа пеной перьев,
как безумья режущийся зуб;
прорастает с болью небывалой,
и недаром этою весной
этим утром, это небо в алой
пелене — как небо над десной.

И взмывает в полдень, лирохвостый,
на карниз ковчега жестяной,
где под ложе кинув меч двуострый,
ты с чужой спасаешься женой...

Из губы прокушенной сочится
розоватым мартовским светлом
алый рыбий глаз растенья-птицы,
вдвое увеличенный стеклом;
за окном господен соглядатай,
на ее груди твоя рука,
и клубятся у черты закатной
вспененные волны-облака.

1980-1993

Валерий Шубинский

РУССКИЙ ДЖАЗ

М.Шубинской

1

На быстром своем негрском наречии переговаривались трубы и барабаны, отрывистыми синкопами постанывало пытаемое пьянино; жена красавца-музыканта, сейчас задиравшего со слоновьим задором свое блестящее орудие, она, к несчастью, начисто была лишена звукового чутья. Ее мозг не ощущал мелодии, но глаза невольно быстро — подчиняясь ритму — обегали зал; публики все прибывало, ситцевые платья и потертые черные пиджачки поверх рубашек с расстегнутым воротом (ну и, конечно, без галстука) перебивались зеленым сукном, бескозырками, майками физкультурников, веселыми полотняными рубашками на голое тело; появились и сорокалетние академически-несчастливые старики — среди них она узнала отца, много старше, чем при последней встрече, хмурого, в штатском.

Сбивчивое старушечье сердце порою нарушало плавно убыстряющийся ритм ее сна. Туманное солнце ощупывало окна безлицей окраинной квартирки, куда мгновенно — на теле своем, на взгляде своем — внесла она добрые, вековые запахи петроградской коммуналки.

Как представлял он себе ее старость — не благородную, сухую, и не рыхлую, одышливую, косолапую, а складчато-строгую, которая делает больших, как она, женщин похожими на индианок; как представлял он себе ее, в старости, тревожный, барабанный сон — сон об иных временах!

Он и сам не смог бы толком объяснить, что подвигло его именно на эту, вызывавшую такие сомнения, работу. Иногда ему казалось, что вся предшествующая жизнь верным, упругим, малозаметным усилием медленными стежками приближала его к этой теме, клубку тем, клубку историй; порою же он ужасался собственному произволу, капризу, побудившему его бесплодно прогуливаться по этой пустой, скользкой плоскости, которая для кого-то бездна. Были часы, когда он был убежден, что поддался конъюнктуре, но, возможно, убежден не вполне искренно, ибо так и не выполнил своего обычного в этих случаях намерения — предать рукопись огню (комната с реликтовой печью в кирпичном флигеле, где он жил, давала эту нечастую в наши дни возможность). Но в минуты более трезвые и честные он с безнадежным весельем осознавал, что едва ли рукопись, отнимающая

уже несколько месяцев все его вечера, увидит другой свет, кроме тусклого сияния нашей зимы, вяло сочащегося в единственное окно утром и днем, когда хозяина нет дома, а если и увидит, мало кого заинтересует, это уж он знал. Так или иначе, он продолжал свой тайный, тревожный труд.

Ему было едва за тридцать, и от природы он был музыкален. В первой юности, счастливо совпавшей с первым девичеством русской рок-цивилизации, превратившейся в нестарую, но плодовитую матрону, он с несколькими такими же подростками из провинциального города, где родился, «снял один к одному» (так тогда хвалили) золотых ливерпульцев. Но позже с музыкой как отрезало, и ни в части под Псковом (два кирзовых года затянуло как бельмом, и ни одного лица, и ни одного смешного случая, который сподручно было бы вставить в очередной рассказ, не выплывало из этой заводи), ни в запоздалые университетские годы, ни в последующей жизни, в которой все оказывалось каким-то стыдным, не своим — и трехлетний сын, где-то далеко отсюда, в купчинских кирпичных кущах, и рассказ, после трехлетних мытарств появившийся в малость покалеченном виде в куцем, пуганом журнале, — ее не было нужно. У него открылось хорошее пространственное зрение, он великолепно чувствовал и запоминал цвет, форму, объем и выражал в слове. В быту у него была неважная память на лица — что странно, потому что описания лиц давались ему едва ли не лучше всего. Но мир его был почти беззвучен, и в пунктире, который стал намечаться яснее с тех пор, как окончательно оформился разлад между внешними событиями и внутренним изменчивым шумом, не было, кажется, ни одной музыкальной точки.

Разворот пружины, для начала переместившей его в пространстве, не был связан с отцом, но в исходной точке был все же именно он. Сейчас об отце вспоминалось с каким-то грустным недоумением; здесь была еще одна лакуна, которую необходимо было заполнить. Пять лет, проведенные в Ленинграде, не оказали на него никакого влияния — он, так по крайней мере казалось его взрослому сыну, был не в состоянии запомнить ни одной стихотворной строчки, и, вероятно, не отличил бы на фотографии Зимний дворец от Летнего. Город, где он учился, — это был просто большой город, город-герой, центр культуры (и, мстительно прибавлял сын, город трех революций). А каким искренним было его почтение к этой слегка абстрактной, необходимой для воспитания культуре — это было одним из его твердых правил. И уважать себя он, естественно, заставил, но сын, сначала бунтовавший против его воспитания, после научился проходить через него, как через воображаемую призму, а потом, в отрочестве, снова стал бунтовать, но уже по-другому. А как

заботливо покупались эти книги — эти неподъемные, сороковых годов, собрания в одном томе — в вечных переездах, в тяготах офицерской жизни (позже он с удивлением обнаружил, что знает, скажем, Тургенева лучше своих просвещенных друзей, у которых на первом курсе брал почитать «Мастера и Маргариту» и что тогда еще было модно), как исправно елозила игла старенького проигрывателя, издавая облагораживающую музыку, вскоре сменившуюся совсем другой, как радовался своей глухоте гипсовый Бетховен!

Среди книг, которые покупал для него отец и к которым приохотила его скорее мать, на стеллаже, где современная словесность была представлена в основном пудовыми деревянными романами, ни одного из которых он, к счастью, не прочел, а также разрозненными журналами, одна полка была собственно отцова. То была обитель беззаветных красных героев, жертв кровавой ежовщины, биографии коих сочинялись как раз в годы его детства — годы посмертных реабилитаций такими же героями и жертвами, но рангом пониже, эдак комбригами, что не удостоились пули и залечивали ныне на покое свои каторжные болезни. Признаться, он находил тогда какую-то поэзию в этих стройных прапорщиках, по мановению волшебной палочки превращавшихся в революционных маршалов, а затем в германских и японских шпионов. Когда-то отец заклеивал их фотографии в книгах папиросной бумагой, а теперь собирал их жизнеописания, и все это уместилось в одну жизнь, а в промежутке было то, чего сын не понимал — эвакуация на Урале (так они не полюбопытствовал, где именно), война, на которую он успел бы, продлись она еще месяц, а потом — полувывмерший, испуганный Ленинград, который никогда не был Петербургом.

Сам он приехал сюда через полгода после смерти отца. Автобус сильно трясло, а он, зажатый среди пластмассовых венков и зевающих пузатых военных, думал, без отвращения и тоски, что отец там, внизу, широкоплечий, с зачесанными назад редкими волосами и совсем уже теперь неуместным педагогическим выражением лица, которое придавал покойникам местный умелец, и в первый раз робко пытался разобраться, как же он все-таки к нему относился. Теперь он шел по берегу канала между знаменитой колоннадой и пивной. Как многие в этом возрасте, он был слеп, глух и всецело погружен в собственные мысли. приемная комиссия была закрыта на обед. Вывешенный на стене список факультетов поверг его в растерянность. По прошествии стольких лет он не смог связно вспомнить причины, по которым был выбран именно этот институт, и почему, собственно, Ленинград был предпочтен Москве. Он прошел по длинному коридору, спустился по лестнице. Скамейки вокруг бронзового Ильича были облеплены незадачливыми абитуриентами. Некоторые из них, в ожидании койки в общежитии, и жили здесь, в

освещенном солнцем сквере — а его приютил, по старой памяти, бывший отцов сослуживец.

Он присел на краешек скамьи и взглянул за ворота, где вдруг не оказалось канала. Он понял, что обошел здание по кругу и вышел с другой стороны. Глаза слипались; было жарко, пахло бензином и копотью. Прищурившись, он еще раз оглядел сквер и зевнул. Вдруг взгляд его что-то остановило. Он подошел поближе; сомнений не оставалось — Ленин был без бородки. Бронзовая голова принадлежала трудно произносимому итальянцу — строителю этого огромного дома с двумя выходами. Он поднял глаза и внимательно оглядел белую колоннаду, по которой гуляли сырые и легкие, северные тени. Колонны всегда связывались для него с чем-то лишним, натужным, тяжелым; он вспоминал отца, неуклюже пытавшегося — тоже из педагогических побуждений — разговаривать с ним каким-то невсамделишным языком — языком плохих книг, на котором не говорят. Он встал со скамейки и, перед тем как выйти на узкую и быструю, пышную и прокопченную улицу, еще раз оглянулся. Солнце, улыбаясь сквозь пыльную листву, образовало на желтой стене дрожащую сетку. «Хорошо», — вдруг подумал он; ноздри его шевельнулись от веселого волнения. «Нет, правда, в кайф!». Ветер коснулся его горячей шеи; он почувствовал в нем что-то непривычное, легкое, морское. Как ему теперь казалось, именно в этот момент он понял, что останется здесь навсегда, а если уедет, все равно вернется; на самом деле он понял это немного позже.

Этот заколдованный год, который закончился отчислением из института за пьянку в общежитии, год, в который он познал первую свою женщину (вот и ее лицо затянуло туманом) и написал первые стихи (эти детские строки, иногда всплывающие в сознании, когда-то вызывали стыд, теперь — умиление), навсегда, как казалось, отрезал его от детства. Родной город, в который он вернулся не сразу — сначала прятали друзья в общежитии, потом его заметил комендант, но еще неделю он ночевал на вокзале, и, только истратившись до копейки, в общем вагоне поехал домой — вызывал у него отвращение. С трудом дождался он повестки из военкомата.

Он уже чувствовал многое — тонкие полоски снега на высоких кровлях, тусклый, распадающийся на одноцветные точки пейзаж с мостом, под которым ныряют машины, складывающийся из тысячи оттенков, как раствор алхимика, сиреневый колер апрельского сада, запах дыма, свежести и гнили с канала, с которого он сворачивал в монастырский сквер несколькими годами позже. Но слово, он чувствовал, не давалось ему; стихотворчество не было его призванием, и, как он позже понял, его способность воспринимать чужие стихи была ограничена определенными рамками, а в те годы выбор был весьма узок из-за собственного невежества. Даже

университет поначалу казался раем — академический воздух после казарменного был чистым кислородом, сердечное почтение вызывали эти тысячу раз освященные и оскверненные, тусклые аудитории, чему бы в них ни учили, эти узкие лестницы, и Нева дышала рядом. Только потом уже, только потом...

Следующий (параллельный) виток: литература, казенные и полуказенные объединения и семинары и чьи-то квартиры, где пьют портвейн и читают стихи. Пройдя анфиладу таких кружков, он задержался среди каких-то худеньких вечных отроков, сочиняющих манифесты и называющих друг друга на «вы», и нервных курящих девиц. Здесь считали его, кажется, гением-самородком, просвещенным природою, или что-то в этом роде. Но, чем больше он просвещался по-настоящему, тем яснее становились для него недостатки собственных писаний. Его представления о том, какой должна быть литература, сложились под воздействием круга чтения в детстве, а отчасти и того, что исподволь вдалбливалось школой. То неяркое, ускользающее, щекочущее под ногтями, что имел он сказать сам, не нуждалось в этой громоздкой и обстоятельной, как костюм-тройка, одежде, и она свисала, как на огородном чучеле, как на ребенке. Он ничему не научился у новой словесности, кроме права на свободу. Начались блуждания, мучительный, многолетний поиск того, что всегда — он знал это — было под рукой; кстати, тогда же разорвались все отношения с одним официальным литобъединением с выходом в перспективе на типографский станок, в котором тепло принимали первые его опыты.

Примерно в то же время — а это был последний университетский год — он возвращался к себе в общежитие с Обводного — там жила та, на ком он вскоре женился. Была светлая, рыже-голубоватая июньская полночь, меланхолические многочасовые сумерки. Срезав угол, он свернул и пересек по диагонали сквер, пройдя по аллее плоских, чернеющих на равномерно светящемся небе тополей к двубашенному собору. Чтобы не забыть: брак его был краток и неудачен. Дальше путь его был налево, через мостик и сквозь арку — на площадь. Но на этот раз он в рассеянности, не то поддавшись лирическому настроению, свернул не туда и, опомнившись, оказался на просторной, полной разнесенного ветром тополиного пуха площадке между алтарем собора и старым монастырским кладбищем, почему-то не отнесенным к процветавшему здесь музею великих скелетов. Движимый той же блаженной рассеянностью, он вошел сквозь неплотно закрытую калитку на кладбище и свернул на одну из тропинок, вившихся между плитами. Тропинка вскоре закончилась тупиком, и он остановился. Ему захотелось курить. Он зажег спичку, и огонь осветил надпись на одной из плит, которая привлекла его внимание:

ДМИТРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЛАЗАРЕВ

1873 - 1923
ПОЭТ

В справочниках, в Литературной энциклопедии, всюду, где можно было бы найти хоть что-то об этом никому не известном (спустя некоторое время он небрежно, как полагалось это делать, упомянул о нем в разговоре с одним из пишущих отроков и наткнулся на удивленный взгляд), загадочном и загадочно забытом человеке, не было ничего или почти ничего — упоминание курсивом в большом списке; глухая ссылка на анонимную рецензию на книгу, принадлежащую, возможно, другому автору — инициал был чужим, но по какой-то интуиции он выписал и эту справку. Это вот чуть-чуть и вдохновило его на поиски, продолжавшиеся полгода и закончившиеся созданием первой биографии Дмитрия Лазарева. Надо ли говорить, что статья эта осталась в рукописи. но некоторыми материалами ее он воспользовался при написании диплома — речь идет о встрече Лазарева с Блоком и некоторых других эпизодах.

Вероятно, здесь он и раскрепостился, по крайней мере, сделал самый важный шаг. Тогда он писал больше, чем в студенческие годы и чем теперь, больше, чем надо. Он успел попробовать и перебрать все, что попадалось под руку — и грузные символы в немецком духе, и задушевный говорок, и немудрящие фантазии. Тема же значения не имела — будь то разговор, услышанный в электричке, буддийская ли притча, исторический анекдот времен Екатерины — все что угодно, лишь бы подальше от собственной памяти, от своего детства. Когда он пытался писать об этом, выходило нечто уже заведомо чужое, усредненное, фальшивое, и все же слишком окрашенное собственной памятью, грустью, обидой, чтобы стать литературой.

И вот он живет — нет, тихо отсиживает свой краткий срок, не отзываясь на телефонные звонки — в коммуналке, в комнате уехавшего в отпуск друга. И вот она — высокая, хмурая, шлепает с утра на пропахшую сыростью и кошачьей мочой кухню. Сколько ей — шестьдесят? семьдесят?.. Наверное, все же меньше. В двух метрах — противоположное окно, его как раз моют, женские колени прижались к стеклу, сверху — квадратик неба, этажом ниже машет крыльями развешенное белье, сквозь него не видно ни ржавого остова «Жигулей», ни асфальта. Как научился он не бояться этой жизни, как привык? В кухне звенят чужие кастрюли. Кто она все же — блокадница, дворянка, комиссар, профессор, швея? Из каких

дворцов, из каких бараков пришла она сюда? У нее есть сын, я знаю, когда он приходит, это крупный, вероятно, мужчина, с низким голосом, он курит «Беломор» — я чувствую его приход по запаху, но самого его ни разу не видел: ведь я же почти не выхожу из комнаты, особенно вечером. Каждые четвертые сутки в десять утра возвращаюсь я со своей службы (сторожу склад), как раз открывается продмаг, я покупаю хлеб и консервы и потом уже спускаюсь только за куревом. Ем я один раз в день, а за полночь (сын уже ушел) пью чай. Собственно говоря, меня нет.

... Тогдашнее его безумие, сосредоточившее его внимание на первом встречном человеческом лице, было, он знал, одним из главных обстоятельств, толкнувших его к этой работе. Во всяком случае, еще до истории с чайником и пластинкой, о которой позже, он понял, что будет писать о ней, и что это будет лучшим из того, что он сделал и, может быть, сделает.

2

Начиналась здешняя весна, по-азиатски сладкая и пряная. Два красноармейца пилили бревно. Из окна третьего (верхнего) этажа был виден желтый затылок ближнего бойца, его напряженная красная шея и широкая спина. Второй красноармеец разогнулся, и одну секунду Константину Константиновичу Стрельцову было видно его обветренное лицо — монгольская маска с пустыми, вязкими глазами. Красноармеец скрутил и запалил сигарку, и в тот же момент сам Константин Константинович потонул в клубах пахучего трубочного дыма. Откуда они?.. С прогорклой усмешкой припоминал он пугливое сострадание к ним — собственно, кто такие «они»? — времен его легкой, студенческой, штатской молодости, с неизбежной для той эпохи мистической подцветкой. В сущности, как он теперь понял — а раньше он об этом не думал — в отменные, со вкусом выполненные декорации его тогдашней петербургской жизни не так уж плохо вписывались статисты, изображавшие на заднем плане, в сущности, лубочный гибрид из загадочных и могучих скифов, некрасовских ходоков с котомками, медовооких богоносцев и старца Новых. Этот мир был театром в театре, его ненатуральность была так безупречна, что несколько лет спустя он вдруг оказался — единственный из всех — настоящим, из плоти и крови, и стал властно диктовать свои законы подмосткам и залу. А он, мускулистый, возмужавший, прихрамывающий, с гордым крестиком, побывавший в пыльно-сером окопном аду, где для игры места уже не оставалось, попал как бы в плен к ним и стал командовать краснолицыми крепкими хлопцами — теперь он уже сам стал частью декорации... Вдруг, спустя — сколько же? — лет он снова чувствовал

пружинное, горячее напряжение этого взгляда. Он не суворовской школы, отнюдь, в душу солдата проникать не умеет. О чем он думает? Тоскует ли по дому, или, напротив, рад, что вырвался из своей степной и, должно быть, голодной (слухи ходят страшные, повторять их нельзя) деревни?

Отходя от окна в глубину квартиры — большой, светлой и строгой квартиры комсостава, из тех, что вечно остаются как бы нежилыми — он мимоходом взглянул на овальное зеркало, неуместное в этих комнатах, лишенных (Катенька еще ребенок) той губчатой, лиловой тени, которую, как паутину, распространяет всюду, где живет, женщина — настоящая женщина. На мгновение он увидел себя — сорокалетнего здоровяка в галифе, облегающей майке вместо гимнастерки, с правильной военной мускулатурой, толстой шеей и нелепой дворянской трубочкой в руке. Стоять бы с такой трубочкой в стеганом халате, смотреть на воздушную геометрию санкт-петербургских улиц — что за азиатский, Боже мой, городишко, японский, с морем, голландскими кораблями на рейде и приبلудным Палладием!

Вот ее угол — европейское детство, с таким отчаяньем сколоченное ей — в этой сухой, безграничной степи, в сердцевине жизни, среди бодрых пионерских маршей ("это тоже прекрасно" — улыбается замечательный, загорелый папа-командир), нехитрого гарнизонного быта, разбитых коленок, ночных походов за пять километров на Волгу; детство с заповедным для него дневником, «Дэвидом Копперфильдом», коллекциями марок и еще какой-то чепухи (и вот он добился своего — из ее альбомов таращатся молодцеватые Вожди Народов и похожие на болонок Робеспьеры, с последней, яко враги, страницы — ширококорый Муссолини и гипсовый Георг). И рядом — порванный кожаный мяч...

Что же, если жизнь обманывает, идет не по правилам, отчего и ему не нарушить этих плачевных, невесть откуда взявшихся — то есть известно откуда — правил? Ну вот поднять с ее кровати это чужое, невиданное им письмо... Ну что же, ей уже пятнадцать. Взрослая девушка. Ах, как ты расчувствовался, старый дурак, потому, должно быть, что сегодня опять... Ну, в общем, поэтому. Кто же будет ей писать — в гарнизоне нет ни одного мальчика ее лет. Какой-нибудь бойкий боец, молоденький младший командир? Не может быть, ей всего пятнадцать, да просто не может быть! Кто-то из школы, из поселка? Еще из Москвы? Нет, надо положить на место. Но... Боже мой! — почерк... да... это тот почерк. Сколько же их было, писем, и почему она скрыла их от него? Нет, он должен прочесть, а может быть, не должен, но все равно прочтет.

«Дорогая, дорогая моя девочка! Меня очень расстроило то, что ты пишешь («то, что ты пишешь» — механически повторил он). Но ты

знаешь, что моя жизнь принадлежит не мне. Такое счастье — жить одним дыханием с классом, со страной. Мне тридцать шесть лет, будет тридцать семь, а я чувствуя себя совсем молодой девушкой. Мне очень жаль, что ты сейчас не видишь Москвы. Она меняется на глазах, скоро уже не останется узких улочек, уродливых старых церквей. Это совсем, совсем новый город, молодой, советский. Но ведь у нас теперь нет провинции, всюду — наша, советская земля. Ты, конечно, уже была в Сталинграде на тракторном заводе, видела наших стальных богатырей. Такая же железная машина — наша партия, и быть исправной шестеренкой, передаточным колесом в такой машине — это самое большое счастье в наши дни».

Теперь он вдруг понял, чем отличается нынешний державный металл от того, имперского. Там был чугун с медью, а здесь — сталь с примесью свинца, и звон другой. Иногда ему казалось, что из-за этого они и расстались, что уши его не выдержали этого звона. На самом деле тогда это не имело значения, ушла она, а не он, ушла к другому, с которым тоже разошлась через год или полтора. Дочь осталась с отцом. Два года спустя, в двадцать девятом, Стрельцов неожиданно получил новое назначение — в приволжские степи, командиром запасной части. Дочери Александра Абрамовна писала нечасто, ее короткие послания, вложенные в деловые письма к нему, Константин Константинович передавал, не читая.

«Пойми, что я не могу взять тебя к себе. Во-первых, у меня столько работы. И потом, твой отец (зачеркнуто: «Константин», сверху написано: «Стрельцов» — и тоже зачеркнуто) — человек образованный, многое может тебе дать в плане общей культуры. А я, ты знаешь, училась очень мало, ушла в революционную работу. Твой отец — честный человек, интеллигент, пошел с революцией. Но он отстал от времени и сейчас оказался как бы на обочине. И у него есть время заниматься твоим воспитанием. Раньше общественной жизнью жили только мужчины, а для женщин оставляли семью и хозяйство. Но теперь все по-другому, и ты тоже (ты ведь скоро будешь взрослой) должна знать, что ты не хуже, ты не должна жить, как какая-нибудь затворница. А у отца учись, чему он может тебя научить. Нам, чтобы победить, надо освоить весь опыт человечества. Помнишь речь Ленина на III съезде комсомола? Но надо быть осторожным, потому что вместе со старой культурой можно воспринять старую идеологию. У твоего отца могут быть ее остатки, потому что он пришел из старого мира. Поэтому ты должна не только учиться у отца, но и воспитывать его. Спорь с ним, если он хочет сделать из тебя какого-то старорежимного ребенка, не будь овечкой. Ты же моя дочь!

Какая ты счастливая, Катька! Ты родилась после революции. Тебе пятнадцать, а стране нашей семнадцать. Все дороги перед тобой

открыты. Ты уже можешь вступать в комсомол. Кончишь школу — приезжай в Москву. Ты будешь моим товарищем, а не просто дочерью».

— Отец! — он оглянулся и понял, что попался: не расслышал звона ключа и шума открывающегося замка. Остановись, мгновение, удержи ее такой, какой она застынет сейчас в дверном проеме: большерукой, большеногой, рослой, в старой клетчатой юбочке, со светлыми, коротко стриженными волосами (через год они потемнеют), с глубокими, черными глазами. — Ты дома?

— Я нездоров... — виновато пробормотал Константин Константинович (приступы такого нездоровья, заключавшегося в основном в тяжелой и нетрезвой хандре, бывали со Стрельцовым все чаще. Жизнь же в, как он ее называл, Белогорской крепости шла своим чередом, будто этот сухопутный остров должен был своей двусмысленной тишиной уравновесить кровавую суету строящейся и рушащейся, не спящей ночи, нищей и яростной, как развороченный муравейник, державы).

Константин Константинович повернулся и, не выпуская письма из рук, шагнул навстречу дочери.

— Ты писала... маме?

— Отец, ты пьян? — с брезгливым удивлением спросила Катя. — От тебя пахнет вином. Ты пил сегодня.

Стрельцов повторил вопрос.

— А почему я должна спрашивать у тебя разрешения?

— Но если тебе что-то не нравилось, ты могла сказать мне. Это же так просто.

Стрельцов говорил сквозь зубы, стоя к дочери вполоборота. Только бы не потерять самообладания.

— Да тебе ничего нельзя объяснить. Ты скажешь: «Ах, эта книга учит доброте и благородству», «ах, в этих страницах скрыта память веков». А потом начнешь кричать. Доброте и благородству! А сам пьешь, притворяешься больным, не ходишь на службу. Саботаж, вот как это называется. А я вот пойду и расскажу...

Стрельцов от удивления повернулся к Кате лицом.

— То есть... кому расскажешь?

— Ну... кому надо. Ведь ты же читаешь мои письма.

Константин Константинович молчал.

— Ты следишь за мною, как... как жандарм. Ты мной командуешь. Ты хочешь, чтобы в меня в школе дразнили барышней, буржуйкой, папиной дочкой. Ты хочешь, чтобы я была не как все, — в ее стальном, разгоряченном до предела голосе вдруг зазвучали слезы. — Ты не понимаешь, как это страшно — быть не как все...

Он знал, что раз уж она решилась заговорить с ним так — слез своих она ему не простит, не простит никогда — этим она была

похожа на мать. Будто и не было вечеров, когда при свете керосинки — электричество осталось в Москве — он пересказывал ей, прижавшейся к его плечу, «Виконта де Бражелона». Или это тоже было притворством?

— Ну а зачем ты учил меня латыни? Чуть ли не латынь во второй пятилетке, — она скорчила гримасу. — Эксиге монументум, — с отвращением произнесла она.

— Ты же хотела стать врачом...

— Никогда я не хотела стать врачом!

Чем яростнее звенел голос девочки, тем флегматичнее, невозмутимее был ее отец. Внезапно почувствовав приступ слабости, он опустился на Катин детский стульчик, уже несколько лет стоявший в углу и затрепавший под тяжестью его тела.

Катя с яростью носилась по квартире, перетаскивая и складывая на кровати какие-то вещи. Константин Константинович был не в силах подняться со своего случайного сидения. Он прикрыл глаза и погрузился в какое-то темное, неудобное полузабытье.

— Папа, — раздавалось над его ухом. Он не открыл глаз. — Папа, я ухожу.

Он молчал.

— Я взяла с собой денег на дорогу. Тебе хватит. Обедай в столовой.

Спина затекла, ныли ноги, но Стрельцов не шевелился.

— Папа, я ухожу совсем.

Звук закрывающейся двери. Он вскочил, оделся, набросил на плечи шинель... Куда она побежала? Конечно, на шоссе, будет останавливать машины, идущие до станции. Он успел удержать ее, когда она уже вошла в кабину грузовика.

Пока его воображение продельвало все эти манипуляции, его тело, окончательно ослабевшее и потерявшее волю, все больше обвисало на детском стуле, медленно сползая на пол.

Даже если она доедет до станции, ее легко можно будет найти там. Поезд на Москву отходит не раньше следующего утра. А может быть, она погуляет часа два и вернется?

Нет, зачем тебе возвращаться! Нет, ты права, бей наотмашь, прекрасная, сильная, жестокая юность. Давай-давай, новый мир, счастливый и бравый. Ты прав, потому что... Без «потому что» — просто прав. Дави нас, с нашей смердяковщиной и декадентской тоской. Додавливай. Дети, ломкими подростковыми голосами отрекайтесь от отцов.

Комбриг Стрельцов упал с детского стула и лежал на полу. Рядом с ним валялось на паркете недочитанное письмо. Стрельцов поднял его и механически пробежал глазами последние строки:

«Катенька, девочка моя дорогая! Вспоминала тебя и всю ночь плакала. Не знаю, как быть. Поверь, мне очень и очень трудно. Я все надеюсь, ты кончишь школу и приедешь. В Москве уже будет метро... Мы пойдем с тобой в кино — тысячу лет не была в кино — а потом... потом не знаю. Ну ладно, будь здорова, моя дорогая. Заботься об отце — ему тоже непросто. И будь умницей.

Твоя мама».

3

Представим себе затерянную в волжской степи железнодорожную станцию до электровозной эпохи. Представим (амбары нашей памяти, как мертвым зерном, наполняются румяными хutorьянами, цоканьем верблюдов, забредших с востока киргиз-кайсаками и с севера — тонкогубыми немецкими колонистами; впрочем, тише, мы входим в комнату покойника, итак, опусти глаза, темные времена, лихолетье, голод; расширь глазницы, провали щеки, раздери всю одежду, опорожни наполовину мешки... Дальше?) — представим (внимание, мы покидаем остров!) поселок (по нему уже проехали железные грабли, и, пожалуй, он при этом полон высланных, потому что это все же довольно отдаленные места, столь отдаленные — что ж? Достаточно ли слепого окна, взбившейся соломы, мертвой лошади? Десяток нищих, нищий, нищенка — о, проклятый сентиментальный лубок, пародия боли!) поселок — ничего не нужно, ибо поселок в полуверсте от станции, куда вбегает, прыгнув с попутки, девочка — беспокойный ангел черной и звездной эпохи. Представим — представь, вдыхая сырную сырость пригорода города Ленинграда; дрожа от визгливого ветра на опять-таки железнодорожной платформе, пустынной в вечерний час; с досадой глядя на сизое пятнышко от потекшей в кармане шариковой авторучки; выбегая без пальто в киоск за сигаретами; представь бледную от смелости девочку, вбегающую на платформу, лежащую на земле ничком бабу, сжимающую не то баул, не то мертвого, не то живого ребенка, нищего калмыка или кайсака (лицо запоминать необязательно, больше мы его не увидим), бормочущего на тарабарском своем языке визгливое заклинание — вечную жалобу тоски и боли. Представь три мужские фигуры, фигуры мужчин, спящих, прислонясь к укрытым чехлами диковинным предметам, трех мужчин, к которым подходит четвертый — ухмыляющийся каждой кожной складкой, рыжеватый толстопузик с нежной лысиной. Очень приятно, Залман.Зальцман.

Он подходит к ним, и предметы внезапно обретают плоть, оживают, хоть и остаются неподвижны: во всех, кроме свиноголового барабана, ощущается что-то женское: талия, шея... Оживают и

хозяева этих, оказывается, музыкальных предметов. Вот гибкий, женоподобный, с подведенными (или это показалось) глазами — фотографируем его на пролете через бездну, от рокового арлекина образца 16 года — до рокового мальчика восьмидесятых, причем, обращаю внимание — в полете не потеряно ни одной буквы, только ударение сбилось от адского ветра; Антон Сюзор, настоящее имя неизвестно.

— Я должен сообщить вам пренеприятнейшее известие... Девочка, вы кого ждете? Поезда не будет до завтра. До завтра, Антоша, я не оговорился... Таким образом, надо возвращаться. Дадим старухе еще десятку, еще ночь, таким образом, переночуем... А что делать? Девочка, идите сюда? Да вы что, расстроены чем-то? Вздвонованы? Ну-ну, мы не укусим... (выведи из-за туч безумно-яркий континентальный лучик, дабы во всей красе осветить этого толстого, рыже-розового человека).

Я хотела узнать... Я хотела узнать, скажешь ты, когда будет поезд. Мне нужно в Москву, скажешь ты. В Москву, в Москву, скажут они, девочка, а где ваши еще две сестры? А вы, спросишь ты, — четыре брата? Да, мы четыре брата, четыре непутевых мальчишки, бродячие музыканты, летящие над миром, неся в своих металлических, деревянных и кожаных инструментах свитые в трубочку звуки, четыре русских и еврейских негра, ангелы, разжалованные в певчих птиц. Это не мы, не удивляйтесь, говорим красиво, это стучит на своей машинке в каком-то сером загороде один незадачливый исследователь. Четыре близнеца, хотя мы вовсе не близнецы, вот, кстати, знакомьтесь: Алексей Иванович, ветеран русского джаза (крохотная фигурка, помадные усики, напряженный взгляд, высокий белый воротничок акцизного или почтового чиновника, тульского или новоржевского Чарли старых, до всего, времен).

А поезда, говорят они, не будет, уж не обессудьте. Не будет до завтрашнего утра, а потом состав из Верного дотащит нас до Сталинграда — неповоротливый, почтовый чудак, а дальше новенький паровоз, если живы будем, туда, к трем сестрам, куда вы сказали. Таким образом. Айда пока с нами в станицу, у нас есть еще хлеб, водка, хотя вы, конечно, не пьете, и рыба, а вместе веселее, хотя нам, правда, Самуил, нам и так весело, уж такие мы люди.

Опиши, как хочешь, путь по весенней степи (не забудь только этого классического, горьковатого запаха и рассеянного света), рассели в станице все, заготовленное для станции, но прежде — этот дымок; желтый, стройный, ленивый от безветрия дымок в конце степной дороги. Дым отечества.

... А полутемный вагон забит людьми, и можно высветить блуждающим фонариком их лица: восковая баба с худеньким

младенцем; молодой человек с выступающими скулами, тонким носом, тонкими губами и глубокими, тревожными глазными впадинами (как вообразил он вдруг это лицо!) — машинист или электрик из городка Н.; неподвижно спящий второй уже день в проходе бугай. И в углу (жара, накурено) разговор, свидетельница коего — перед нами.

ЗАЛМАН ЗАЛЫЦМАН: Посмотри на этих людей, Самуил. Посмотри в их лица, какая в них тоска и усталость, особенно во сне, когда человек слаб и бесстыден. Как щепки в Черном море, носятся они по огромной и страшной нашей родине. Железная жизнь, новая жизнь взяла их в оборот, не спросившись. Они не помнят себя, и не помнят о своей боли, не помнят о голоде и страхе. Их утро встречает прохладой, их ветром встречает река. И вот я спрашиваю тебя, Самуил, не обманываем ли мы этих людей, не участвуем ли в обмане, глуша их тайную боль своей такой веселой, бодрой музыкой, пока они не увидели небо в алмазах?

САМУИЛ БЛАГОДАТНЫЙ (трубач): Нет, Залман, ты ошибаешься. Новая железная жизнь взяла этих людей в оборот для их же блага, для будущего алмазного неба. Да, вокруг них, за ними и в них бездна боли, и кому это знать, как не нам, бродячим музыкантам, свободным свидетелям чужой беды? Но мы возьмем эту боль себе, а в них разбудим свободную и радостную песню, которая облегчит им путь к новому небу.

ЗАЛМАН: А не кажется ли тебе, Самуил, что люди эти — простодушные люди — устали от своей металлической и бездомной жизни и желают чего-топряного и никчемного, как Вертинский или как наш Антоша, сопящий сейчас так мило над моим ухом?

САМУИЛ: Я не понимаю тебя, Залман. Ты говоришь, что мы не должны обманывать людей трубными звуками, и ты же говоришь, что мы должны давать им побольше леденцов и прочей дряни?

ЗАЛМАН: Я сам не знаю, Самуил... Я мечтаю о музыке, которая открыла бы людям бездну радости и боли, чтобы человек стал свободным, как зверь, как огонь, или как нота, вылетевшая из твоей трубы. Но что хорошего им в этой боли и в этой свободе? Уж лучше пусть она спит, как медведь зимой, а зимы у нас длинные. Черт подери нашу музыку — в ней песня освобожденного раба, и жалоба неосвободившегося, и хохот хамья, смеющегося над рабом, который запутался в своей цепи. Что нам делать, Самуил?

В заключение можно изобразить случившиеся в вагоне роды — девочка с неподвижными, раскрытыми в ужасе глазами смотрит на... — старенький одышливый доктор пробирается через весь поезд, а может быть, не доктор, а ветеринар, фельдшер, ветеринарный фельдшер, тот, что пользовал потом умирающего Навуходоносора — роды или смерть, все равно.

Легенда о происхождении Дмитрия Александровича Лазарева от известных благотворительностью армян исходит от самого Дмитрия Александровича; ни к основоположнику Лазаревского училища, ни к адмиралу, бороздившему южно-ледовитые моря, не имел он ни малейшего отношения, а если с кем был в родстве, то разве с библейским Лазарем, так как мать поэта была еврейка, урожденная Абрамович, Мария Федоровна. Это была история, взбудоражившая в 1879 году уездный город Золотоозерск, потому что купец 1 гильдии Эфроим Абрамович — «Федька-жидок» — был единственным в Золотоозерске евреем, а молодой гимназический учитель Александр Павлович Лазарев тоже был фигурой заметной. Отец Александра Павловича, лучший золотоозерский иконописец, тремя годами раньше умер, упав с лесов, не окончив главной своей работы — росписи Золотоозерского Воскресенского Собора. Стоя на лесах, нетрезв до того, что приходилось привязываться к перилам (веревочка одна и подвела), вопил Пашка Лазарев нецензурные частушки, изрыгал непотребные, невероятные проклятия, так что отец протоиерей, заходя в собор посмотреть Пашкину работу, затыкал уши, дабы не оскверниться эдаким. А работа была хороша — один из последних настоящих северных иконописцев, Лазарев соединял древнее велелепие с голландской круглотой и итальянскими туманными тонами. Веке в осьмнадцатом, еще при матушке Екатерине, писали так в нежной провинции, позже — нет. Благодетельство не постижимо соседствовало с озорством, простодушие — с утонченностью, земное — с небесным. Да не соседствовало — срасталось, сливалось, вот в чем прелесть-то! Симон Ушаков, пусть и не Рублев, был больше современником Лазареву, чем какой-нибудь паренный Репин...

В местном музее есть одна икона лазаревского письма — Мария Магдалина. Собор разрушен в двадцать каком-то году. Единственный сын иконописца, Александр Павлович, на отца не походил и, кажется, стыдился его — впрочем, в меру.

Александр Павлович, учитель физики, впервые во взрослом возрасте приехавший в родной город на похороны отца, был первым золотоозерским нигилистом, впрочем, мирным. Одевался он в широкую шляпу и черный плащ, носил зеленые очки и длинные волосы — однако всегда чистые, резал лягушек и не ходил в церковь, не считая официальных гимназических богослужений. Веровал он в науку и в общину, в Бога не верил, но о том не распространялся, вежлив был безупречно, с дамами несколько робок, не пил. Преподавал, говорят, отлично.

Где и когда познакомился Лазарев-сын с Броней Абрамович, не известно. Она как раз кончила акушерские, что ли, курсы (о, Александр Освободитель, заря женского образования!). Естественно, первонигилист был в теории за гражданский брак, однако полагал необходимым дать своей жене прочное положение взамен неизбежного разрыва с семьей. Свадьба была пышной; золотоозерцы видели в ней прежде всего обращение в истинную веру нигилиста, что произвело даже большее впечатление, чем крещение еврейки. Эфраим Абрамович не выдержал отступничества дочери. Говорят, он впал в детство и был увезен женой в родной городок, где-то в Подолии.

Лазаревы не смогли жить в Золотоозерске и вскоре переехали в Петербург. Там родились оба сына — Павел, через два года — Дмитрий. В 1879 году А.П.Лазарев был найден в своем кабинете повесившимся, точнее — висящим (факт самоубийства установлен следствием — впрочем, никаких оснований сомневаться...). Жена экс-нигилиста и вдова самоубийцы, Мария Федоровна была благочестива и прилежна в своей новой вере. Лучшие воспоминания детства Дмитрия Александровича связаны

ЛИСТ УТЕРЯН

надолго выбило Д.А. из колеи и было, по-видимому, главной причиной его ухода из университета и исчезновения из Петербурга. Больше всего мучало его, с одной стороны — готовность, с которой друзья поверили в его осведомительство, с другой — полная невозможность оправдаться: ведь действительно он — единственный из членов кружка — не был арестован, а настоящий предатель — что ж, его или не было, а была, допустим, чья-то случайная обмолвка в письме к приятелю, либо это был профессионал, которого сейчас же перебросят на новую работу — подсадят к какому-нибудь простачку в камеру, потом командируют в провинцию или за границу, и так далее, вплоть до старости, до почетной и сытой отставки — так скорее всего и было, а Лазарев был оставлен невредимым в качестве отвлекающего маневра, но эта полицейская подлость все же больше льстила его самолюбию, чем пренебрежительный гуманизм (дескать, с этого что возьмешь...); поэтому он предпочел эту версию (см. Дневник — здесь и далее: «Дневник Д.А.Лазарева», Прага, 1937).

В 1904 году, когда Лазарев вновь объявляется, его сопровождают две легенды. Согласно первой, он несколько лет провел в экзотических путешествиях, был в Северной Африке, Аравии и Иерусалиме. Согласно второй, был в енисейской ссылке. Дневник его — впрочем, скорее всего, это подделка, изготовленная, однако, то ли самим Д.А., то ли с его слов — о времени этом умалчивает. У нас

есть одно предположение — ни на каком таком Енисее Д.А., конечно, не был (в Туруханске, с Джугашвили, а? Или тот позже...), а вот в Вологде — а это от Золотоозерска, кстати, не более ста верст, то есть наоборот, Золотоозерск от Вологды — вышли в 1901 году «Стихотворения Д.Л.». Если мы все правильно понимаем и Д.Л. — тот, то первая книга поэта предположить ничего не заставляла, была просто слаба, и не имела бы интереса, если бы... Ну вот такой отрывок ("Земля и небо"):

И кажется порой мне, что за облаками,
Где нету горестей, но где и счастья нет,
Есть только бледный свет, недвижимый веками.
О, как страшны, дики мне эти сотни лет!
Я жить хочу, страдать и к счастью стремиться...

Здесь любопытен не парусный пафос, не надсоновский сдвиг цезуры в первой строке, а эта вечная, неподвижная область, к которой поэт обращается с другими чувствами в «Финляндских сонетах»:

В прохладном воздухе глухая тишина,
Над морем сумрачным — дыхание покоя,
Напоминают мне — есть белая страна,
Где не слышны ни смех, ни плач — ничто людское.

Порою, раз в сто лет, случайная волна
Ударит о скалу, и чайка над лукою
Взлетит, и в полусне зеленою рукою
Взмахнет бессмертная, надменная сосна.

И снова тишина. И, холодом объят,
Безмолвен ясный мир — Эдема младший брат.
Но что случилось там — комета ли сгорела,
Гора ли рухнула? Не все ль равно — ни тела,

Ни духа у того, что горнего предела
Достигнул, избежав злосчастий и отпад.

Наконец, оба стихотворения пересекаются довольно причудливым образом с самым значительным произведением Д.Лазарева — книгой «Река имен», загадочным полуроманом-полутрактатом, оставшимся почти незамеченным современниками. Но об этом ниже.

Продолжаем: к декабрю 1904 же или к 1905 году относится следующая дневниковая запись Блока:

«Здесь появился Лазарев, поэт, бывший террорист... Узкое лицо, тонкие, змеиные губы — пришел из Ночи. Глубокий взгляд — из Ночи в звездную бездну».

И через несколько дней — вторая:

«Лазарев. Люба не боится его. Ее взгляд, ее дыхание — во тьме, в глубине».

А вот из дневника самого Лазарева, то же примерно время:

«Когда я прохожу по этим улицам, мне кажется, что дома вырезаны из картона и вот-вот рухнут, а лица — восковые и глиняные. Тысячью лучей сходится Россия в душную Москву, сходится в стрелу и Николаевской дорогой ударяет сюда — в море, где из картонных домов слышна (мне одному слышна) нездешняя, дикая, азиатская музыка — рокот, цокот и звон...»

В 1909 году выходит книга стихов Лазарева — «Глухие голоса», единственная, не считая вологодской. Спустя два года автор исчезает в неизвестном направлении. В начале НЭПа, в еще не совсем сытый год, Чуковский по выходе из какого-то казенного учреждения был окликнут. Обернувшись, он увидел невысокого мужичка с метлой наперевес, черной повязкой на левом глазу и всклокоченной черной же с проседью бородой — дворника.

— А вы мало изменились, Корней Иванович, — сказал дворник.

(Надо дописывать диалог? Думается, нет. Итак, в одном из только что возродившихся частных ресторанчиков писатель Чуковский и дворник Лазарев, который, по его словам, воевал в Иностранном легионе, был при Сезане, пьют кислое вино, по всем законам жанра; Чуковский устраивает своего старого знакомого в издательство корректором; через короткое время тот бесследно исчезает, и наконец, в феврале 1923 года на станции Шушары попадает под поезд неизвестный, оказавшийся Дмитрием Александровичем Лазаревым. По другим сведениям никуда Чуковский Лазарева не устраивал, но через месяц после встречи, зайдя в издательство, неожиданно столкнулся с щегольски одетым, бритым, без повязки на глазу, Лазаревым, спорившим с Акимом Волинским об истоках славянофильства).

Ниже цитата из единственного некролога (автор скрылся под инициалами М.Х.М.):

«Сейчас эта почти уже забытая книга может послужить превосходным образчиком эпохи, ушедшей безвозвратно. После бурных и поразительных перемен, произошедших в нашей стране, далекими кажутся стихи Лазарева, холодноватые, не вполне самобытные, однако полные внутренней тревоги, присущей в те годы многим. В этих стихах никак не отразилась авантюрная биография автора; почти нет в них и его обаятельной, страстной и странной личности».

Отрывок сей относится, как можно понять, к все тем же «Стихотворениям» 1909 года. Что до стихов, то из сонетов, составляющих первую половину книги, следует, кроме уже приведенного, выделить обращенный «К Гваренги»:

Сухая меланхолия сквозит
В холодных грезах зодчего-поэта.
Волшебный врач, у воздуха и света
Их тайный опыт взявший за визит,

Курносый карлик с волею атлета,
Он строит мир свой — пусть всегда не сыт
Седой Сатурн, пусть мрамору грозит
Промозглый воздух северного лета...

Живее стихи из второй части сборника; одно из лучших — «Зима» с таким последним четверостишьем:

И Дафнис входит в Хлоин дом,
Укутан в черные меха;
И реки меркнут подо льдом
Под скрежет русского стиха.

И, наконец, стихотворение, которое хочется привести полностью, не по собственно художественным, а по, так сказать, идейно-биографическим причинам:

Разрублен двухсотлетний узел,
И эти улицы летят
В глухую бездну, пятый угол,
Хихикающий русский ад.

Вот-вот рукою дернет всадник —
И рухнут дряхлые дома,
Раскрашенный порвется задник,
И обнажится полутьма.

И только, вечная кукушка
На им заведенных часах,
Отсчитывает полдни пушка,
И с каждым днем безмерней страх.

Это стихотворение было напечатано в 1928 году в парижской газете «Последние новости» вместе с другим, вероятно, неоконченным или необработанным:

Певец, не в меру преуспеть
Страшись на поприще державном,
И власти не спеши воспеть
В высоком слоге иль в забавном.

Любим властям у нас в стране
Присущ как будто дух тлетворный —
Напоминая о вине,
Не то какой-то знак позорный.

.....
.....

Скотам любезен их загон,
Но мне, увы, равно противны
Восточный царь Ассаргадон
И вождь народный за две гривны.

Время написания обоих стихотворений неизвестно.

Переходим к самому существенному — к «Реке имен». Итак: содержание романа таково: сначала описывается некая экспедиция в Центральную Азию: герои в жюльверновском духе, подробнейшие, явно списанные из путеводителей описания Поволжья и Туркестана. Затем экспедиция попадает в буддийский монастырь, где один из ее участников (от лица которого написана книга) ведет мистические диспуты с неким ламой. Все это — обычные теософские штучки образца эдак года тринадцатого (кстати, тогда говорили Будда с ударением на последнем слоге, по-французски). Тут-то и начинаются интересные вещи. Не успевают экспедиция покинуть монастырь, на нее нападают (кто, непонятно). Спасти удается рассказчику и трем его спутникам: скептическому толстяку, изнеженному женоподобному юноше-декаденту и немолодому чиновнику-библиофилу из провинции (причины участия всех этих людей в экспедиции, равно как и цель оной, остаются неясными). Итак, они странствуют по какой-то степи, прячась от кочующих шаек и время от времени забредая в полупустые, разоренные селенья. В дороге они теряют друг друга. Герой-рассказчик пытается пробраться к «большой реке», но там, где на карте значится река, оказывается солончак, усыпанный костями людей и животных. Герой идет вдоль солончака и на третий день приходит к дому, где находит

следы человека, между прочим, пищу и питье. В доме, кроме того, множество древних книг, в их числе трактат «Река имен», о котором рассказывал герою спутник-библиофил. Отрывки трактата занимают значительную часть книги. Приведу лишь один, как образчик стиля:

«Им казалось, что они мнут время в пальцах, как глину, а на самом деле они плыли по нему, как по реке. Их плот несло по течению, и они не видели этого, а когда они попали в стоячую воду, им стало казаться, что они плывут. А тот, кто перебирал время, как песок, казалось им, вышел из времени, как из дома. Но он хотел увидеть мир изнутри песчинки. И понял, что для того, чтобы двигаться в стоячей воде, надо уметь плавать. Но пловец, в отличие от плота, может вернуться».

Вслед за тем герой покидает дом и пытается продолжать путь, но сбивается с пути и, описав круг, возвращается назад. На сей раз он встречает в доме знакомого ламу, который дает ему некоего напитка. Герой засыпает и видит во сне свое детство, Петербург, любовь, проживает заново свою жизнь, вновь отправляется в экспедицию, попадает в дом на солончаке, пытается уйти из него, возвращается, встречает ламу, выпивает напиток, засыпает... Все это повторяется несколько раз, меняется только путь, которым герой уходит из загадочного дома; наконец, ему удастся ускользнуть. Он идет по пустыне и видит свежего мертвеца, лежащего на животе. Он переворачивает его и узнает одного из своих прежних спутников (не сказано, кого именно). Он идет дальше и выходит к реке. У берега стоит лодка. На этом роман кончается.

Поразительно, что о существовании этой книги не знал, видимо, никто, включая автора некролога. Между тем роман издан в 1916 году, в Петербурге, скромным, но не сверхъестественно малым тиражом. На титульном листе — посвящение: «Константину Константиновичу Стрельцову».

5

... Была ли она похожа на его мать? На этот вопрос мы отвечаем отрицательно. Отрицательный ответ напрашивается сразу, хотя на самом-то деле все не так просто. Она была — когда-то, в молодости, — статной и широкоплечей, с большими ладонями и красивым костлявым лицом. Она была... Мать была совсем другой — маленькой и округлой; мать обволакивала больных (она врач) аккуратной тепловатой лаской.

Сложность в том, что все началось (имеется в виду книга) с того последнего приезда в родной город, когда, посмотрев на мать, он вдруг понял, что не знает и не помнит ее, и ему нечего ей сказать... Прошлое было кинематографично: что-то чрезмерно, до фальши

жизнеподобное, снятое в естественных декорациях дождливой России; так что книгу его можно было бы назвать и так: «Русский кинематограф», или же проще «Русское кино», или, может быть, «Русский иллюзион».

КАДР ПЕРВЫЙ: Ему восемь лет, вечер; он идет к больнице встречать маму с дежурства. Вечер холодный, дымный, сырой. Дождь не идет, но вот-вот начнется. Он мог бы точно воспроизвести по памяти путь: через главную улицу, площадь и сквер? по другой, узкой, улице до конца, там, на окраине — дощатые домики, лысеющая серая земля, клочковатая крапива? толстозадые курицы и сутулые козы; там, в конце улицы капитана Лядова (капитана Блада) — поворот направо, на луг, футбольные ворота с погнутой штангой (начался дождь), бак для дождевой воды. Уже за городом — новенькое белое здание больницы, сейчас фиолетово-серое, в склизких тенях, за мелкой суетящейся листвой. Он становится в фонарный круг; он переминается с ноги на ногу; дождь то слабеет, то усиливается; пытаюсь согреться, он обегает вприпрыжку вокруг лужи. Мамы нет. Он заходит в больничный сквер; его обгоняет тупорылая машина, две тени проносят тень носилок с чем-то трясущимся и коротким; ему страшно, он возвращается к фонарю. Мамы нет. Вдруг он слышит ее голос, как зверенок, бежит на звук, сначала в одну сторону, но там только холод и дождь, потом в другую — и вдруг чувствует тепло, чувствует глядящие его руки, и плачет.

Иногда ему кажется — звук ее голоса оказался обманом, галлюцинацией, и он все ждет, он на всю жизнь остался в фонарном круге дождливой ночью на окраине родного города.

КАДР ВТОРОЙ: Он вернулся в город из колхоза (занятия в школах никогда не начинались раньше октября, месяц они копались в склизкой, глинистой земле, маялись скукой в сырых бараках); он вернулся и увидел, что мать покрасила и завила волосы, сделала маникюр. Все это было непривычно, придавало что-то чужое ее облику, он не мог объяснить что. Однажды он решил сделать ей приятное — не предупредив, подошел к больнице в конце дня. Она вышла, накрашенная, спешащая; он окликнул ее. Она удивилась, но не обрадовалась, хотя и пыталась изобразить радость. Но раздражение ее в тот вечер было слишком заметно, и он понял, что, должно быть, сорвал какие-то ее планы. Это было незадолго до смерти отца. Через два или три месяца после похорон мать сказала: «К ужину будут гости»; пришел лысый человек с капелькой пота на носу и такой же на кадыке — Анатолий Владимирович, преподаватель политэкономии в местном техникуме. Гость принес цветы и вино и сперва был строг и чуть не робок, беседовал с ним, угловатым и злым подростком, одоббив выбор института, но через час, когда он понял, что лучше ему уйти, Анатолий Владимирович

был уже в ударе, рассказывал анекдоты и ничего не стеснялся. Из прихожей он крикнул матери, что приглашен к приятелю. «Знаем-знаем, к какому приятелю!» — загоготал Анатолий (так для себя он прозвал его с той минуты, в чем можно и не усматривать влияния школьной программы), и мать сразу же закивала, будто и впрямь знала, хотя знать было нечего. «Что же, сказал Анатолий, — он уже взрослый юноша, в его возрасте надо встречаться с девушками». «Возвращайся пораньше», — сказала мать, что означало: «возвращайся как можно позже»...

ПРИМЕЧАНИЕ: Анатолий появлялся все чаще, и он как-то привык к нему, но каждый раз ускользал из дома на весь вечер — поводы находились. Через полгода он уехал на северо-запад; спустя икс лет в Пярну (или Юрмале) его окликают. Вот он, Анатолий Владимирович, желто-коричневый, морщинистый, с мешками под глазами, опухший. У него больные почки, он скоро умрет. «Ваша мать, — он говорит «Вы», «Ваша», — ваша мать замечательный врач, она вытащила меня с того света». О матери Анатолий Владимирович не спрашивает; спрашивает: «А чем вы занимаетесь?» Потом осведомляется, кто у них в университете читает политэкономия социализма. Узнав, раздражается гневом — завистники, злодеи, карьеристы выжили Анатолия Владимировича из Ленинграда. Через полчаса они прощаются, Анатолий подает ему руку и неправильно называет его имя.

КАДР ТРЕТИЙ: Мама приехала в Ленинград познакомиться с его женой. Жена была с самого начала недовольна всем — четвертым человеком в однокомнатной квартире, хлопотами (а в доме, между прочим, маленький ребенок) и необходимостью нравиться, но главное — она уже была убеждена, убеждена бесповоротно, что не полюбит свекрови, что та разведет их, и уже заранее ее ненавидела. В первый вечер она была так неестественно вежлива, что он понял — быть беде, и из какой-то трусости задержался на другой день на работе, после зашел в рюмочную, выпил коньяку и ходил, ходил весь вечер по заснеженным улицам. Был март — единственный месяц, когда Петрополь нестерпим — дряхлый, хихикающий, зловонный. К полуночи добрался он до своей панельной девятиэтажки, и по яичному свету в единственном окне безошибочно понял: была ссора... Он вошел, мать сидела на кухне. Он объяснил, что вот мол, собрание... А я уж заждалась, сказала мама. А Таня? Таня спит, и мальчик спит.

Чайник кипит, он сидит в мокром пальто, прикрыв лицо руками. «У тебя очень красивая жена... — говорит мама. — И очень милая». Он утыкается лицом в ее плечо и плачет. Она сейчас — и когда она кормит его кашей и ловит с ним лягушек, и когда он ждет ее под дождем у больницы, она — его мама и жена и все женщины.

которых он знал, познает и не познает, сестра, которой у него нет, дочери, которых он родит и не родит.

КАДР ЧЕТВЕРТЫЙ: За пять лет, проведенных вне родного города, он успел полюбить его; город расплылся, утратил очертания и превратился в город воспоминаний. Тень футбольного мяча, раздавленного машиной, до сих пор прыгала по шоссе, круглый год носился ветром по городу тополиный пух, эхо, певучее и резкое, стояло еще над ДК, где он играл когда-то на клавишных, день и ночь висела над городом толстощекая луна, по которой расхаживал, покуривая, стройный Армстронг. Он приехал в феврале, в первый день была сырая метель, потом начало таять, и город зверьком смотрел из белой грязи — мокрый и больной, больше всего мучая слабым сходством с рушащимся на глазах миром воспоминаний.

Где ты сейчас работаешь? Все равно, мама, расскажи лучше о себе. Но меня спрашивают, где ты работаешь, я должна что-то отвечать. Ну скажи... все равно, расскажи лучше о себе. Надо было кончать университет... При чем здесь, причем?.. Ты же был учителем в школе. Мне стыдно быть учителем. Как это стыдно? Так, расскажи о себе. Ну хорошо, я очень устаю, осталось два года до пенсии. Анна Ивановна иногда заходит. Ты помнишь Федю, твоего одноклассника? Он приезжал. А другой твой одноклассник попал под машину. Приезжал, зарабатывает триста рублей. Замечательный ребенок. Кстати, могу я видеть моего внука? Мамочка, об этом потом... Видишь, и твоя жена не выдержала.

Возможно, февральский город и разговор снится лежащему на продавленном диване в коммуналке на Гороховой; через две или три минуты его разбудят стуком в дверь.

Он откроет глаза и увидит потолок — неровный, с длинной трещиной, похожей на крысиный хвост. Он проснется на продавленном диване в коммуналке на... Он откроет дверь: «У вас чайник сгорел, молодой человек», — скажет старуха-соседка.

Ай, беда: сгорел у него, но чайник-то чужой, как и все здесь чужое, приятеля, в комнате коего он временно проживает, потом он переедет в царский загород, во флигель, бесплатно, за топку и присмотр сданный усхавшими на Север на год хозяевами. Это через два месяца, а пока он здесь на Гороховой, наскоро — извините, извините — застегивает штаны, ставит продырявленного кривоногого уродца под струю воды, тот издаст предсмертный шип, вода проливается на пол; он бежит за тряпкой, вытирает проваленный дощатый пол...

Сколько же он стоит, новый-то чайник? Рублей пять... Пять? Все равно в этом месяце ни копыя нет. Хорошо, а где они продаются, чайники? В универсаме?

И он услышит за спиной: «Но чаю, чаю-то выпьете?» Он в недоумении обернется и увидит человеческое лицо — лицо соседки.

— Возьмите-ка у меня чайник и попейте чаю. Попейте, попейте, успокойтесь. Все бывает, что делать.

Впоследствии он придумал обстановку ее комнаты, которую тогда не рассмотрел или не запомнил, придумал такой, что ее просто было не запомнить: покосившийся дощатый стол; фотографии, неясные, маленькие, желтые — на стенах; железная кровать с выцветшими расшитыми подушками... — аккуратный тлен...

«... а если что — заходите, заходите. Я ведь почти все время дома. Вы думаете, конечно, — вот, болтливая старуха, но я ведь, правда, ни с кем не общаюсь, только вот сын иногда заходит».

«Я — странно — ни разу не видел вашего сына. Только голос слышал в прихожей».

«Голос у него от отца. Отец его — вот он (на желтой фотографии четыре мужчины в каких-то жокейских костюмчиках и свитерках) — он был высоким, худощавым, с тонкими руками, а голос у него был низкий, настоящий бас. Это выглядело не очень-то обычно...»

На быстром своем негрском наречии переговаривались трубы и барабаны; музыканты, впрочем, только лишь настраивали инструменты, готовясь поразить зал новой, никогда не бывалой гармонией, варварски-прекрасными созвучиями. Она в тревоге оглядывала зал, пытаясь найти знакомые лица. Но тут музыка началась, чтобы через мгновение, однако, прерваться. Она почувствовала, как все взгляды обратились к входной двери, где то ли появился кто неожиданный, то ли случилось непредвиденное происшествие; сама она повернуться не могла. Музыка началась сызнова, но что-то с ней случилось — какая-то чужая, резкая нота вплелась во вьющуюся звуковую струю, разрушив и загрязнив ее. Музыка вновь приостановилась, и тут пошло нечто невообразимое: барабанщик яростно и бестолково избивал своего плоскоспинного зверя; пианист с остекленевшими глазами механически, как метроном, нажимал стократно на одну клавишу; и лишь трубач с закинутой головой, зажмуренными глазами исторгал свою нежную ноту, и дрожала, дрожала, дрожала вьющаяся золотая змея...

6

И вот поезд, который он пустил через всю страну — еще один в небольшой повести, несколько лубочный, с паровозом, изрыгающим сизый, округлый, чуть-чуть сбившийся на сторону дым (а не назад, вопреки физике); с желтыми, синими и зелеными, но без плача и песен. Предстояло наполнить поезд людьми, потому что поезд — он

и был эпохой, а эпоха — это всегда что-то придуманное задним числом, вот как этот поезд, отправленный им на сей раз с Юго-Запада, с Украины на Москву, с опозданием на три года против предыдущего.

Он довольно скверно представлял себе посмурневших, молчаливых малороссиян, лучше — низкорослых и кругленьких отработничков, совсем из Ильфа-Петрова, но с какой-то тревожной хваткостью и прытью. Все они должны были, мелькнув на заднем плане, составить сооружение некоторой старой и толстой еврейке в покосившемся пирамидальном парике.

Предстояло создать ее мысли, и они-то сами пришли: несколько дней он был толстой старухой, тяжело переваливался, ступал осторожно, дабы не осквернить соприкосновением с трепным, доставал из баулов горшочки со снедью. Он не был уверен, что делает это правильно, но выбора не было — в мозг уже стучали, тяжело и длинно, чужие голоса — искаженные тени его собственного, отраженного десятками непрозрачных и твердых плоскостей. Он думал о детях — Яше и Шуле, Суламифи. Яша несколько раз приезжал, Шулю она не видела с тех пор, как ее дети вместе со Шмулем Абрамовичем делали в местечке Интернационал. Потом Шуля вышла замуж за гоя, отец ее проклял, она бы так и не увидела дочери, будь жив Аврамл, а между прочим, Шмуль Абрамович, за которого так и не вышла Шуля, чтобы сойтись с этим гоєм, бывшим офицером, а потом уйти и от него и еще раз побывать замужем, все-таки, кажется, за евреем, так вот, этот Шмуль, хороший мальчик, хотя немножко рябой, и еще он так любил свой большой наган и всем его показывал, когда был комиссаром в местечке — за ним пришли-таки с еще большими наганами, и Шмуль куда-то сгинул вместе с коммунистическим начальником товарищем Троцким. Хорошо не стало, начался голод, в местечке давали по карточкам вот столько пшена, так разве можно жить? — и тогда стали приходить посылки от Шули. Абрамовичи все были немножко того, немножко сдвинутые, эгойм. Дядя Шмулева отца был под старость сумасшедшим. Ходил по улицам без кипы, в рваном халате, что-то шептал... Она была еще девочкой, но помнит. Срам какой! А ведь был, представьте себе, богатым человеком — где-то на краю земли, Бог знает где, а повредился из-за дочери, между прочим. Хотя сейчас — о чем я — сейчас все по-другому, ее дети стали большими людьми, и вот уж они — сияющий, страшноватый в своих ромбиках и черной коже Яша и молодая, строгая, в черном, все еще молодая Шуля — вытаскивают, смеясь, из вагона тяжелые баулы. Ее везут в огромный дом в узеньком переулке, скатывающемся с Тверской. Здесь в бывших гостиничных номерах — с альковами, но без кухонь — живут железные служилые люди,

важные коммунисты. На двадцати лифтах шныряют они по десяти этажам, не то забираются на плоскую крышку, где высокой решеткой обнесен висячий сквер, а посередине — детский сад для коммунистического молодняка. И еще на одном персональном лифте отправляется на свою особенную службу один застенчивый людоед.

Яков Абрамович живет на третьем этаже, Александра Абрамовна с дочерью — на восьмом. Мать живет у Якова, по утрам он у себя в Наркомате. Надежда, жена его, добрая женщина, к теще относится с почтением. На самом-то деле она Нехама. А дети — как нееврейские дети, с красными тряпками на шее, слова по-своему не знают. В три часа все идут обедать в общую столовую, на третий этаж. А она на крохотной конфорочке, приспособленной в ванной комнате, варит в собственной кастрюльке кошерный супчик. Потом Яков снова уезжает, возвращается поздно, иногда за полночь, и часами говорит с матерью по-еврейски.

Скажи, Янкл, ты доволен этой своей жизнью? Не знаю, будем считать, что доволен, мама. Я вижу, у тебя хорошая семья. Да, хорошая, мама, скажи лучше о себе. А твоя служба — важная служба, тебя уважают? Лучше о тебе, мама. Твой отец был простой сапожник. Лучше быть простым человеком. Мама, лучше давай о тебе, как у нас в местечке? Как там тетя Ида, жива? А то дерево перед синагогой, скрюченное такое, не срубили? Все стоит? Дерево все стоит, а синагогу заколотили, и ребе увезли... Ну, не надо, мама, а как Лейбл? Что ты сказала? Нет, я не знал. Не будем об этом. Я сказал — не будем. Янкл, а правда, ваш красный царь — тоже сын сапожника? Он должен тебя любить. Он всех любит. Всех нас, я имел в виду. Всех, кроме врагов. А тебя он любит так же, как всех, или немного больше? Не пора ли спать, мамочка?

Под утро, часа в три, в коридорах начинается топот и отрывистые разговоры. В шесть они кончаются, в семь шум начинается вновь, но иной, утренний, разбуженный, нестройный. Чем важнее начальство, тем позже уходит оно на службу и позже возвращается — тем ближе его каждодневный режим к священным биоритмам Великого Полуночника. И каждое утро несколько квартир в доме оказываются пустыми. Их заселяют никому не известные люди с одутловатыми от государственных бессонниц лицами — люди особого назначения.

В эти ночи Константин Константинович Стрельцов пьет в бывшей детской своей дочери, укрывшись самодельной шторой от бессердечного степного ветра. Командиры в их части и во всем округе один за другим исчезали в никуда. Чтобы обезопасить себя, он полгода проводил вечера и ночи в обществе румяных энкаведешников, но оказалось, что он как-то ошибся в расчетах: все, с кем он глушил спирт, играл в двадцать одно (энкаведешники любили простодушные, нэпманские игры) и горланил до утра

залихватские партизанские песни — все были взяты и увезены одновременно, в одну ночь. И теперь, в отрадном и страшном одиночестве, Стрельцов прислушивался к темноте, выслеживая приближение роковой машины. Комната теряла очертания, плоть стен сливалась с непрерывно мелькавшими тенями, и в мельтешении их скользнут то глаза Дмитрия Александровича Лазарева, подмигивающего в «Собаке» молодому своему другу, то слышался вдруг шум автомобиля, и Стрельцов вздрагивал — но тот автомобиль мчался в надцатом году в загород, в мягкую и матовую приневскую сырость; то он, Стрельцов, едет верхом впереди роты по песчаной, нищей Белоруссии, напряженно всматриваясь, в ожидании засады или предательского выстрела, в голые кусты. А то бежит, шевеля загорелыми лопатками, дочь...

Представь себе ее, автор, он же читатель: ей сейчас восемнадцать, высокой, большерукой девочке веселой и страшной Москвы. Ей восемнадцать, и тут все как обычно: подружки и мальчишки... Она учится в медицинском институте, тех мучений, что были там, в степи, нет — ее друзья все больше из того же слоя и круга: есть выбор, и совершается он как бы без нее; и те, кто исчезает — товарищи или их родители — исчезает незаметно и не вызывая вопросов. Ей весело весельем, возможным только в чумное время. Начинается маленькое магазинное изобилие — тучных коров и последующих тощих забыли, как велено, за ними пришли волки или вурдалаки, они питаются человечиной, но между делом дают какое-никакое молоко, из него понаделали шоколада и всякой всячины — и вот, продают; играет бодрая музыка, и постепенно входит в моду все трогательное и пряное: «В синем и далеком океане, где-то возле О-о-огненной земли-и...»

Впрочем, должно быть, ты неправ; они не спокойны, эти юноши, не знающие, что живут в самое кровавое время мира, гнушаются своим видимым благополучием и мечтают о великих войнах (которых дождутся). Так ли? Ах, не все ль равно!.. Футбол, конфеты, веселые ребята, вскрытые животы, хрипящие глотки, улыбчивые летчики... Однажды на столбе она видит полусорванную афишу:

НТАСТИЧЕСКИЙ ДЖАЗ

Самуил Благодатный
Залман Зальцман
Алексей Дудырев
Антон Сюзор

Начало в 20 часов. Стои псеск

Она чувствует — нет, всего лишь дрожание земли и воздуха, которое оказывается странной, темной музыкой. Она пытается что-то вспомнить — но это продолжается мгновение и кончается ничем.

«В синем и далюком окзане...» Рябой, седоусый, невысокий кавказский человек слушает, прикрыв глаза, свою любимую песню, самозабвенно слушает. Вот и звучит везде эмигрант-Вертинский. За любовь к растленной музыке гонят из комсомола, музыка, однако, имеет хождение, пластинки выпускаются и продаются: теперь мы знаем, почему. А Ильич любил Аверченко.

Представь лучше, писатель, он же зритель, Яшу. Якова Абрамовича, лысого, курносого и толстогубого, с бокалом в руке. Рядом с ним мать, по другую руку от нее — Александра, склонившись к матери, она переводит Яшин тост. Мама плохо знает по-русски, к тому же сейчас она и слышит не слишком хорошо.

— Мама! — говорит Яков. — Нелегкой была твоя жизнь. Покажи эти руки, мама — это золотые руки! Твое сердце, мама, это золотое сердце! Ты трудилась, как муравей. Ты мечтала, что твои дети поднимутся наверх и станут большими людьми. Но что бы было с нами, если б не революция, не этот вихрь, ломающий стены? За счастливую и спокойную твою старость, мама, в мире, который принадлежит нам! За тебя, мама!

Далее: представь его же, неделю (например) спустя, смущенно натягивающим кальсоны на глазах у маленького нервного гражданина с наганом, двух дюжих бойцов с насмешливыми монгольскими лицами, небритого одноглазого дворника, в ужасе бормочущей матери, Левочки и Леночки, которых бледная Надя тут же запикивает обратно в детскую, прикрывая дверь своим телом... В дом-то зачем было врываться — сколько раз могли взять его на улице ли, на службе.

Якова уводят, старуха и дети расходятся по комнатам, притворяясь спящими. «Какие-то срочные дела в наркомате, — объясняет Надежда. — Утром он вернется». Они верят. «В крайнем случае, к вечеру». Они верят, но не могут уснуть, после этих людей в воздухе осталась какая-то тревога. Надежда ждет еще два или три часа, а потом бежит к Александре и будит ее.

— Не может быть... — говорит Александра. — Успокойся. Думай о детях. Яков через несколько дней вернется. Быть такого не может...

НАДЯ: Саша, что ты говоришь? Разве кто-нибудь вернулся?

САША: Неужели ты можешь допустить, что Яша... Я всегда знала, что ты не любишь его! Я всегда знала!

НАДЯ: Хорошо, ты знала. А теперь послушай, что я знаю. Через три дня придут за мной. Может быть, через неделю.

САША: Я знала, что это ты...

НАДЯ: Что я его?

САША: Вовлекла.

НАДЯ: Я виновата, что вы начали друг друга... (пауза). Я знаю, за женами всегда приходят.

Начинается утренний топот. Обе замолкают. Шаги в коридоре стихают, потом усиливаются, усиливаются еще больше, снова стихают. За стенкой шорох... Или это почудилось? Нет, Катенька спит.

— Кто — мы? — спрашивает Саша. Надя молчит. Саша повторяет вопрос.

— Когда умер твой отец? — спрашивает Надежда.

— Не знаю, кажется, шесть или семь лет назад, — отвечает Александра. — А какое это имеет...

— Я тоже не знаю ничего об отце. Может быть, он жив. Он был резник, — говорит Нехама. — Ты бы знала, как мы жили, в какой бедности! Нас было девять, девять братьев и сестер, и только я одна отказалась от отца. Ведь резник, шойхет — духовное лицо. Я бы не смогла учиться. А теперь, я думаю — если меня арестуют, лучше бы за папу-резника.

— Я могу взять у тебя пока детей? Хочешь? — спрашивает Суламифь.

— Возьми лучше свою мать.

... И ничего не понимающую старуху перетаскивают на восьмой этаж, к дочери и внучке, косящейся на диковинную бабушку и морщащейся от резкого запаха чеснока и старческого пота. А дня через три в такой же предутренний час в дверь пронзительно звонят и после небрежного до неприличия обыска уводят Александру Абрамовну... Проходит час, и заплаканная, бессонная Катя бежит по ненадолго пустынным лестницам. Вот уже и квартира дяди Якова и тети Нади, и, о радость! — на двери нет печати. Катя нажимает на звонок, потом еще и еще раз — дверь не открывают.

В это время Надя бдит в общем вагоне поезда, ушедшего вчера вечером с Ярославского вокзала, в тулупчике и платочке, обхватив тощий узелок и дремлющих детей. Какой выбрать угол, какой полустанок, какую глушь для несчастных этих времен?.. Страна спит, но не дремлет Великий Сапожничий Сын, Великий Резник, не спят его слуги, не спят обреченные на закланье. Не спит в своей темной, продутой ветрами квартире Константин Константинович Стрельцов. Через два или три дня машина, к неповоротливому шуму которой он прислушивается со звериным вниманием, останавливается у его дома. С шумом ударяет металлическая входная дверь. Они пришли. Константин Константинович отворачивается от окна и заряжает револьвер. В дверь звонят. «Кто?» — спрашивает Стрельцов. «Телеграмма...» — отвечает грубый голос. Стрельцов

подносит дуло к виску и нажимает на курок. Почтальон с ужасом сбегаёт по лестнице, комкая в кулаке Катину телеграмму: «Срочно приезжай». И дальше поползла пыхтящая механическая каракатица.

А Катя стоит промозглыми весенними ночами в бесконечных, бессловесных, шепчущих очередях. Ничего: никаких вестей ни о маме, ни о дяде Якове. Но это лучше, чем сводящее с ума бессловесное бдение в квартире. У бабушки — огромной, бормочущей, зловонной — кончаются запасы, и, несколько дней проголодав, она вдруг начинает что-то яростно и слезно бормотать ничего не понимающей внучке; наконец поняв, Катя берет старушку под руку и ведет в столовую, и та впервые в жизни оскверняется трюфной пищей. Впервые — и, может быть, напоследок; деньги кончаются днями, но кончиться не успевают, потому что в тот же день приходит управдом и требует в 24 часа освободить квартиру. Она выходит из дома, бежит по переулку, бежит по улице Горького — и вдруг, запыхавшись, останавливается в центре спешащей слепой толпы — нечесаная, без пальто. Она оборачивается — в спину ей смотрят ненавистные и любимые всевидящие звезды. Она сворачивает направо, еще раз направо, бежит дворами. Она останавливается — ей кажется, в достаточно безлюдном месте. Куда ей идти? Куда звонить? Две близких подруги на прошлой неделе, услышав ее голос, повесили трубку. Ах, да если б и не повесили — куда, куда податься ей с этой дикой, неповоротливой, богомольной, сомнительной старухой?

И тут она слышит человеческий голос. Она с испугом озирается. «Девушка!» — молодой басок: «Девушка! Идите же сюда, идите! Конечно, это вы, я вас узнал!» Откуда он, этот голос? Из заоблачных сфер, где играют на трубах и барабанах неумную музыку? Но вот он стоит на углу — движется верблюжий кадык, собираются в складки желтые, с верблюжьей щетиной, щеки. Это он, это он... «Мы с вами знакомы, девушка! Помните, ну, ту станцию в степи?.. Ну-ну, что с тобой? Что случилось?»

Самуил Благодатный, трубач.

Он трубач, но больше не играет: он работает инженером на заводе. Он ведь учился в Техническом училище, у самого Павла Александровича Лазарева, ого! Джаз? Джаз распался. А какой был джаз, ах, что это был за джаз! И ничего нет. Алексей Иванович умер. Антоша сел. За гомосексуализм. Залман? С ним они в ссоре. Залман Зальцман играет в ресторанном оркестре.

Самуил приходит в переулок, легко объясняется со старухой, шутит с ней по-еврейски. Она смеется, потом долго плачет, потом снова смеется. С первым поездом он отправляет ее домой, потом Катя собирает самое необходимое, и они, заперев квартиру, едут в его комнату — куда-то в Замоскворечье. Через два дня она выходит

за него замуж. Через два месяца — получает в розовом окошке справку и приговоре матери и дяде — том самом, без права.

7

За то время, что шло себе помаленьку вне книги — а книга шла медлительно, как можно, и все же ее десятилетия пролетели за несколько постепенно теплевших зим — оказалось, что все запретное в общественном смысле стало как бы наоборот, желательным, а неофициальная конъюнктура соответственно исчезла, потому что кому же взбредет в голову тайно жевать под одеялом то, чем и так кормят на первое, на второе и на третье? Это было скверно, но не само по себе, а тем, что книга утратила свой естественный контекст, конечно, беспримесно ненавистный, но привычный, и оказалась перед новым врагом — голой и беззащитной.

И он сжег рукопись, не вынеся ее (предполагаемого) унижения. Сжег в невысокой железной печи, похожей на припухлую — не от водянки, откуда бы тогда огонь? — дорическую колонну, с барельефом на заслонке, почти потонувшим в толстом слое грязно-желтой краски, изображавшем, кажется, старинных кочегаров. Пламя, пламя, сначала медленно разгораясь, потом наполнялось яростью, и, подобно своему лингвистическому брату — времени, съедало исписанную бумагу, превращая ее в нечто лучшее — в волшебные, пятнистые горки и столбики пепла. Это было во сне на Рождество, в другом сне, летнем, он топил книгу-недоноска в проруби, заталкивая всплывающие листы длинным шестом под лед.

И настало утро, когда, проснувшись в отвратительный предполуденный час, после нескольких дней унижительного словесного паралича, он понял, куда ведет, если существует, эта, допустим что ариаднина, нить. Не высокая эта старуха, не воспоминания ее нужны были, они, уж скорее, могли помешать — нет, он лишь понял, что то, что не дописывалось сейчас, могло быть начато и окончено в том времени, в той вонючей коммуналке.

В продрогшей электричке (о, туманные совхозные поля за трясущимися заиндевевшими стеклами!) он вдруг вполне почувствовал бессмысленность предстоящей встречи. Приятель? — его там давно нет, ну да не в нем дело. И он почти рад был, когда соседки, долго не понимавшие, о ком, собственно, речь, наконец закивали и наперебой начали объяснять: она умерла; да что вы говорите, Софья Викторовна, умерла — не дай Бог; просто они переехали в другую квартиру... Да кто они, она одна жила. Скажете, одна, а Игорек? Какой? Ну, сын, Игорек. Так он здесь не жил. Ну, был прописан. И прописан не был. Ну, он забрал мать к себе. Вы уверены? А кто же?

Господи, да сколько прошло — три года или тысячелетие?

Не было ни комнаты, ни квартиры, ни старухи, ни сторевшего чайника, ни Сталина, ни джаза. Все кончилось относительно благополучно, без конфуза. Все кончилось бы относительно благополучно, не узнай он имени ее сына: Игорей Самойловичей Благодатных тридцать лохматого года зачатия не тысяча и не сто, и адресный стол еще работает исправно. Только вот к чему все это нужно — объяснить он, пожалуй, не смог бы. Чертов соблазн!

И в последний раз судьба мягко отвела его от этой предполагаемой воздушной дыры. Телефонный номер, который он узнал, конечно, без труда, отзывался невнятной смесью гудков — то длинных, то коротких. Но сам факт телефонного звонка уже как бы лишал его возможности отступления: решение было принято. И седым субботним утром он стоял, переминаясь с ноги на ногу, у дверей двухкомнатной квартиры на седьмом с половиной этаже кирпичной девятиэтажной башни. Наконец, он нажал на кнопку.

Сначала не отворяли. Потом раздались шаги, заскрипел замок. Первым, что он увидел, когда дверь, наконец, открылась, было облако серого дыма. Дым был с резким запахом, от простых папирос, вроде «Беломора». Потом из облака выступила грузная фигура в халате. «Входите», — сказала фигура переливчатым влажным басом. Да, это он. Дым рассеялся: у хозяина борода с проседью, веселые, хищные глаза за металлическими очками.

Сбиваясь, он объяснил — попытался объяснить — цель визита. Тем временем в желтоватых пальцах толстяка мелькнула еще одна папироса, и через мгновение он, издав краткую искру, вновь превратился в облако; облако, промывавшее:

— Входите.

Маленькая, не очень чистая прихожая. Хозяин через мгновение скрывается за стеклянной дверью, оклеенной бумагой, и уже из-за двери гудит:

— Простите, пожалуйста, только я оденусь... Так... Извините, я не очень понял, кто вы такой? Понимаете, мне надо сейчас уходить, который час?.. Ого, даже сию минуту! Может быть, вы составите мне компанию, а? До метро... По дороге все и расскажете...

Собрать, собрать внимание! Сжать в комок. Суметь сказать. Да, я интересуюсь вашим отцом. Нет, я не музыкант. Я писатель. Боже мой, я писатель без писаний, ибо все сделанное вот здесь — в этом зимнем дне, на дне, не выше низких туч, не шире покатых стен жизни, не глубже корней. Я интересуюсь вашим отцом, и вашей матерью, и вашим дедом и прадедом, и сыном, и Вами, дорогой мой, и Вами. Я писатель, и сейчас иду по зимней улице с Игорем Самойловичем Благодатным. Я литератор, писатель литер. Человек, называющий все по имени, сам же — безымянный.

— Я боюсь, что ничем не смогу вам помочь, — сказал Игорь Самойлович; это было уже на автобусной остановке, постепенно наполнявшейся людьми. Если б не холод, проще было бы дойти до метро своим ходом. Говорить также было трудно. То была самая холодная зима необычно безморозного десятилетия, взявшая реванш за своих соседей.

— Боюсь, что не смогу вам помочь, — сказал Игорь Самойлович. — Мои воспоминания об отце — это, в основном, то, что было до его ареста, то есть года до сорок восьмого, не позже... В сорок пятом он вернулся с войны, и дальше — до сорок восьмого. Мне было восемь-десять лет. Ну, что я помню? Отцом он был хорошим. Вообще это было странное время.

— В каком смысле — странное? — спросил он.

Игорь Самойлович промывал что-то маловнятное и вытянул из пачки папиросу. Курит даже на таком холоде. Подошел автобус, будто ожидавший этого момента. «Видите, — пояснил Игорь Самойлович, — это у меня примета такая». Но радость была преждевременной — автобус был забит дор предела, влезть в него не было возможности. Он почувствовал, что окоченеваает.

— Знаете, — сказал он, — пойдем-ка пешком. А не то мы тут простоим вечно.

Игорь Самойлович зашелся громким, лающим кашлем.

— Понимаете, — голос Игоря Самойловича стал более отчетливым, как бы избавившись от сторонних помех, — все были как-то очень веселы. Это действительно было так. Каждую неделю собирались друг у друга, ели, пили, танцевали под патефон. Какое-то истерическое веселье.

— А кто, — спросил он, — кто бывал у вас в эти годы?

— Фронтовые друзья отца. Институтские подруги матери. В основном — все.

— Подруги матери — упоминали о ее родителях? Хотя что-нибудь говорили?

— При мне — ничего. Думаю, и без меня — ничего.

— А о музыке? Я имею в виду отца... Его джаз.

— Нет. Я узнал об этом в шестидесятом году, мне было за двадцать.

— Вы общались с отцом после реабилитации?

— Изредка общался, конечно. Но не очень много. В семью он не вернулся. Больше мы виделись в самом конце, перед его смертью. Мать, конечно, помнит больше. Но сейчас она в таком состоянии, что вам, не знаю, стоит ли с ней встречаться.

Все же он дал ему рукопись, хотя и сам не знал, что за нужда поверять неловкий вымысел скудной и сомнительной правдой. Спустя десять дней Благодатный позвонил ему по телефону.

У него как раз был гость. Гости у него бывали не чаще, чем астронавты на Луне. Надо же было Игорю Самойловичу угодить именно на такую минуту. Дозвониться в пригород — требовалось упорство. Голос в трубке переливался чуть слышно, но, кажется, дружелюбно. Растерянный, он переминался у трубки с ноги на ногу, не решаясь ни прервать, ни продолжить разговор.

— Мне понравилось, — говорил Игорь Самойлович, — но понравилось так, безотносительно к моим родителям. Они были совсем не такие. И с музыкой вы тоже что-то наврали, наверняка. Это все надо показать специалистам, — и сквозь шуршание и гудение он вдруг почувствовал то, чего не заметил при встрече и прямом разговоре: одышечное быстрое пыхтение.

Телефон вдруг умолк, и он возвратился к заскучавшему приятелю, но спустя пять минут звонок раздался вновь: Игорь Самойлович, извинившись за проказы телефонного узла, продолжал:

— Что касается моей прабабушки, то там действительно история очень интересная, я ничего подобного не слышал, но если так действительно было — очень любопытно. И еще: я забыл тогда на остановке сказать самое интересное, что знаю — отец со своей компанией в тридцать каком-то году выступал в Кремле. Это был прием какой-то делегации. В этих случаях иногда приглашали джаз. У вас в повести этого нет.

Он понял, теперь он понял! Какой же это год? Сипло переговариваются трубы и барабаны, стонет пытаемое пьянино — неужто музыка подтягивается в ряд в ожидании коренастого конопатого вождя и его тонкошеих товарищей? Или все же — заморских торговых гостей?

— И вот еще, да, — сказал Игорь Самойлович. — У меня есть письмо, которое я получил пять лет назад, вскоре после смерти отца, это от врача из больницы, где он лежал. Вас это может заинтересовать.

(Пять лет назад... Значит, Благодатный-отец еще был жив, когда замысел повести возник в его сознании).

Они договорились о встрече еще через неделю. Когда в назначенный день он набрал телефонный номер, строгий женский голос, полный сухих слез, сообщил ему о смерти Игоря Самойловича Благодатного.

Испуганный и озадаченный, он вышел на морозную улицу. Деревья были из соли и пуха. Он не сомневался, что именно его злосчастная рукопись, которую он так опрометчиво, вопреки морфологии, выпустил из рук, стала убийцей. Он относился к ней, как к живому существу. Неужто пунктир его судьбы, пунктир, шедший по большей части сквозь слова и буквы, имел целью смерть

этого милого и грустного толстяка-курильщика? Странно чувствовать себя непечатным литератором, неудачником, тридцатилетним остопом; более странно — стеклом, сквозь которое просвечивают и протекают слова и буквы; страннее всего чувствовать себя чьей-то смертью. Исчезновение рукописи было расплатой. Рукопись он получил недели через две по почте, в сопровождении двух писем. В первом И.С.Благодатный сообщал, что из-за плохого самочувствия не может встретиться лично и потому высылает по почте рукопись и обещанное письмо, написанное врачом М-ым в 1981 году, через месяц после смерти Самуила Арнольдовича.

«Уважаемый Игорь Самуилович, — писал врач, — боюсь, что мое письмо бестактно, допускаю, что Вам трудно будет читать его сейчас, сразу же после смерти отца. Но я был одним из последних людей, знавших Самуила Арнольдовича и говоривших с ним. Он провел у нас около полутора месяцев. В палате с ним лежали люди, более или менее знавшие о характере своей болезни. Часто они были обессилены тревогой и страхом, не говоря уже о физической боли. И когда среди больных оказывается такой человек, как Ваш отец, который поразил меня спокойным и мужественным отношением к смерти, исключительной доброжелательностью, это оказывает воздействие и на общий психологический климат.

Несколько раз мне довелось беседовать с Вашим отцом. Сначала речь шла, насколько я помню, о литературе. Самуил Арнольдович сказал, что его не убеждает то, что называется психологической прозой и что воспроизвести в книге человеческую личность невозможно. Я спорил с ним. «Ну неужто вы думаете, — сказал он, — что какой-нибудь остопоп в будущем сможет представить себе вот именно меня или вас, какие мы есть. А человека «вообще» не существует, это все фикция», — тут он, я помню, помолчал, а потом добавил. — «А вообще-то я на войне и в лагере убедился, что люди похожи друг на друга гораздо больше, чем принято считать. Но вот подумать, что кто-то угадает именно мою подноготную, будет в ней копать — ужасно».

Самуил Арнольдович понимал, что дни его сочтены, но никогда не касался этой темы. Помню лишь один разговор, касающийся не столько смерти, сколько времени как субстанции. Самуил Арнольдович говорил о том, что мы представляем себе время расчлененным на мгновения и подобным песку. На самом деле оно больше похоже на текучую воду. Время — река, и мы барахтаемся, машем изо всех сил руками, но на самом-то деле нас несет по течению. Но кто-то должен, хотя бы временами, выходить из реки и смотреть на нее извне. Помолчав, он добавил: «Мне кажется, я должен был сделать это, и не сделал. И время отомстило мне, зашвырнув меня на обочину, в отстойник, где гниет нетекучая вода».

Это были единственные трагические слова, которые я от него слышал.

В конце этого разговора он рассказал мне случай, произошедший с ним в лагере, в Казахстане, в 1950 году. Он и три его товарища, отчаявшись, решились на побег. Проплутав несколько дней по степи, без еды и питья, они набрели на высохшую реку, полную белых человеческих костей. Они поползли вдоль берега и через несколько часов оказались в зоне, откуда бежали. Больше он никогда не видел этой реки. Скорее всего, это была галлюцинация. Но если время — это река, то что означает река пересохшая, полная человеческих костей? Может быть, это метафора истории.

Я отдаю себе отчет в том, что передаю мысли Вашего отца очень приблизительно. Я хотел бы прибавить, что разделяю Вашу утрату, приношу Вам свои соболезнования и надеюсь, что Вы поймете внутреннюю потребность, заставившую меня написать это письмо».

Теперь-то он понял... Царский пригород, где он жил, был в последнюю войну обращен в руины и заново заставлен домами гнилостно-зеленоватого цвета с портиками и балюстрадами, срисованными из тогдашних архитектурных пособий. Сквозь них, казалось, просвечивали в тусклой лазури очертания старых домов, с многоугольными крышами и многоцветной плиткой стен, перепончатыми слуховыми окнами — глазами вурдалака, и притиснутыми где-то сбоку острыми и тонкими башенками — загородные дачи неклассической поры, и его призрак шел мимо домов-призраков, ныне обретших плоть и прогнавших непрошенных постояльцев на совхозные поля, на болото, шел к парку, где меж немногих уцелевших коренных зданий — маленьких, желтокожих старичков, детей осьмнадцатого столетия, в двух шагах от голубого в некогда золотых струпях дворца, от заросших прудов есть старый же зал — место паломничества местных тинейджеров, девиц и курсантов офицерских училищ и музеев отечественной поп-культуры, где между ним и его призраком, в поздних шестидесятих, лабал Сева Новгородцев, город Лондон, Бибиси. Ныне для призрака все было знакомым, и близки ему были бесплотные собраты — в ситцевых платьях и потертых черных пиджаках поверх рубашек с расстегнутым воротом, в зеленом сукне и бескозырках. Близки ему были и музыканты — в черных пиджачках и с бабочками: вот поводит жирафьей головой Самуил, вот лоснится улыбчивый Залман Зальцман, вот гладит черную деку Антон Сюзор и с суровым видом нажимает на одну и ту же ноту Дудырев. Всем им он воздвиг памятник, и за это — или за несовершенство своей работы — должен теперь утратить лицо и плоть и стать одним из них — навеки. Но что за стеной — голубой дворец разбившейся стеклянной империи или красное мясо кремлевских стен? Они только настраивают

инструменты, а зал замер в восторженной тревоге: сейчас откроется дверь, и музыка ударит в лицо маленькому осповатому старцу не скудоумным шумом, но нежной песенкой, звучащей сквозь годы, мучая слух.

Октябрь 1988 - март 1990

Арсен Мирзаев

* * *

Короткое остроугольное шуршание

- это ящерица

длинное и округлое

- змея

голос свой узнаю

только

по тембру

молчания

* * *

А.Макарову-Кроткову

как бы ночь

как бы ладно

хотя

если как следует вдуматься

как бы утро...

* * *

обгоревшие страницы

ветер листает

чье-то

черно-белое сердце

дымится

* * *

детское -

все что становится вечным:

вспоминание

смерть

надежда

* * *

себе

улетает и тает улетает
тает улетает и тает
а потом опять взлетает
и расцветает

НИЧЕГО (роман в буквах)

- 1 нет
 ничего
 больше
- 2 ничегобольше нет
 кроме
 тебя
- 3 больше тебя
 ничего
 нет
- 4 тебя
 больше
 нет
- 5 больше
 ничего

* * *

выхожу из сумерек
попадаю в другие
точно такие же
не отличить

пред-рассвето-закатные дни
хороши
для
самоубийц

поэтов
любителей мастурбации

такой вот
белесый
петербургский сумрак
обыкновенный
как обувь
фабрики «Скороход»
элементарный
как As

преддверие жизни
переходящее в
предсмертие...

ВРЕМЯ ДО-ЖИТЬ

через год
мама
будет старше
бабушки
умершей в 59

через год
сестра
будет старше
Моцарта Рембо
и Александра Сергеевича
Пушкина

через год
я
буду старше
Иисуса Христа...

дожить бы
до завтра

Лето 1992 г.

ОБРАЩЕНИЕ

решаю
обратиться на «ты»
к дереву
говорю ему:
эй! ты! дерево!...

и оно
выходит из себя
и идет ко мне
своим плавным
тополиным шагом

улыбка у него
немного загадочная
монолизина

СЛУХИ

О.Осипову

- 1 говорят
 поэты
 вдыхают кислород
 выдыхают
 стихи поэмы и венки сонетов
 почему же так мало
 поэтов хороших и разных?
 — кислородное голодание?..
- 2 говорят
 стихи рождаются
 из ничего
 сколько пустоты вокруг
 особенно
 вокруг поэтов
- 3 говорят поэтам:
 когда-нибудь
 вы все умрете
 — никогда!
 отвечают поэты
 и умирают
 все до единого

* * *

Там он сидит, длинный, громкий!
(Д.Г.Лоуренс)

он все сидит и сидит там
длинный и громкий:
очень длинный -
между землей и небом
не помещается
слишком громкий -
у оркестра ударных инструментов
лопаются барабанные перепонки

я все хожу и хожу:
по земле - ногами
каменными кругами - по воде
побледневшим взглядом
выгоревших на солнце глаз -
по сизому небосводу
как по носу пьяницы
сизифова муха

такая уж у нас судьба

ему — сидеть ТАМ
до скончания веков
длинному и громкому
с восклицательным знаком

мне — наматывать
свои земляные морские и небесные
километры
круг за кругом
пока сидит еще
длинный-и-громкий —
символ спасения
от маленькой
тихой
смерти

* * *

морщины
на коже 90-летнего
Роберта Фроста
на чемодане
пупырышки волнения
холода
растерянности
безнадежности
рельефное изображение
сердцебиения

Павел Крусанов

СОТВОРЕНИЕ ПРАХА

Иван Коротыжин, по прозвищу Слива, хозяин книжной лавки на 9-ой линии, сидел у окна-витрины, умудренного пыльным чучелом совы, и изучал рисунки скорпиона и баллисты в «Истории» Аммиана Марцеллина. Гравюры были исполнены с необычайной дотошностью — исполать евклидовой геометрии и ньютоновой механике. «Должно быть, немец резал», — решил Коротыжин, копнув пальцем в мясистом носу, действительно похожем на зреющую сливу. За окном прогремел трамвай и сбил Коротыжина с мысли. Он отложил книгу, посмотрел на улицу и понял, что хочет дождя.

Утро было сделано из чего-то скучного. Большинство посетителей без интереса оглядывали прилавки и книжные стеллажи, коротая время до прихода трамвая. Трое купили свежезавезенный двухтомник Гамсуна в несуразном голубом переплете. Мужчина, похожий на истоптанную кальсонную штрипку, после нервного раздумья отложил «Философию общего дела», предпочтя ей том писем Константина Леонтьева. Сухая дама в очках, залитых стрекозиным перламутром, долго копалась в книжном развале на стеллажах, пока не пришла к отсутствующей груди сборник лирики Катулла — «Academia», МСМХХХХ...

Коротыжин достал из-под прилавка электрический чайник и вышел в подсобку к умывальнику. Сегодня он работал один — Нурия Рушановна, счетовод-товаровед, отпросилась утром на празднование татарского сабантуя. Вернувшись в лавку, Коротыжин застал в дверях круглоголового, стриженного ежом парня в лиловом спортивном костюме. Суставы пальцев на руках физкультурника заросли шершавыми мозолями.

— Привет, Слива, — сказал парень.

Коротыжин оглядел посетителя вскользь, без чувства.

— Чай будешь?

Парень обернулся на застекленную дверь — лужи на улице ловили с неба капли и, поймав, победно выбрасывали вверх водяные усики.

— А коньяку нет?

— Коньяку? — Коротыжин нашел под прилавком заварник и жестяную кофейную банку, в которой держал чай. — Коньяку нет. Зато чай — настоящий манипури. Последний листочек с утреннего

побега... Собирается только вручную — прислал из Чаквы один пламенный...

— Кто прислал? — Парень развязно оплыл на стуле.

— Есть такие люди — пламенники. Это — самоназвание, иначе их зовут «призванные». Живут они сотни лет, как библейские патриархи, и способны творить чудеса, как... те, кто способны творить чудеса.

Парень ухмыльнулся и, не спросив разрешения, закурил.

— Я знаком с одним призванным, — сказал Коротыжин. — Он купил у меня «Голубиную книгу» монашеского рукописного письма и запрещенные для христиан «Стоглавом», богоотреченные и еретические книги «Шестокрыл», «Воронограй», «Зодчий» и «Звездочет». — Он рукавом смахнул со столика пыль. — А когда пламенник увидел «Чин медвежьей охоты», то зарыдал и высморкался в шарф. Я дал ему носовой платок, и с этого началась наша дружба. Он кое-что рассказал о себе... — Коротыжин вдруг встал, подошел к двери и вывесил табличку «обед». — Дар обрек его на скитания. При его долголетию, живи он не сходя с места, в глазах соседей он сделался бы бесом, ведьмаком. Каких земель он только не видал... Но притом, что живет он куда как долго и может творить чудеса, он остался человеком. Я видел, как он смеется над августовским чертополохом, покрытым белым пухом — будто намыленным для бритвы, как кривится, вспоминая грязных татарчат в Крымском ханстве Хаджи-Гирея — они позволяли мухам кормиться у своих глаз и губ. Словом, все такое ему известно: страх, усталость, радость узнавания...

— Слива, ты заливаешь, — сказал парень и осклабился.

— Сносная внутренняя рифма, — отметил Коротыжин. — Первый раз он попал на Русь давно и, должно быть, случайно. А может и нет — он всегда был любопытен и хотел иметь понятие о всех подлунных странах. Он говорил, что это понятие ему необходимо, дабы провидеть будущее... Вернее, он говорил: вспомнить будущее. Такая сидит в нем вера, что, мол, время мертво, и в мертвой его глыбе давно и неизменно отпечатаны не только судьбы царств, но и извилистые человеческие судьбы. А чтобы понять их, следует просто смотреть вокруг и запоминать увиденное... Словом, выходит, будто судьба наша не то чтобы началась, но уже и кончилась. Не такая уж это и новость... — Из-под крышки заварника в лавку потек горький аромат высокосортного манипури. — Он был звонарем в Новгороде, юродом в Москве, воинским холопом при владимирском князе, бортником под Рязанью, лекарем у Димитрия Шемяки, бил морского зверя в Гандвике, ходил на медведя в ярославских лесах, кочевал со скоморохами от Ростова до Пскова, учил княжеских детей в Суздале грамоте, языкам и красноречию. Так сказать, всякого покушал... Он

даже уходил в монастырь, в затвор. Но отчего-то пошла среди чернецов молва, будто чуден он не по дару благодати, а дьявольским промыслом. Что-де под действием беса говорит он по-гречески, римски, иудейски и на всех языках мира, о которых никто никогда здесь прежде не слышал, что бесовской силой чудеса исцеления являет, с бесовского голоса прозорлив и толкует о вещах и людях, ранее никому не ведомых, что освоил все дьявольские хитрости и овладел пагубной мудростью — умеет летать, ходить по водам, изменять свойства воздуха, находить ветры, сгущать темь, производить гром и дождь, возмущать море, вредить полям и садам, насылать мор на скот, а на людей — болезни и язвы. Не всё, разумеется, но многое из этого он, действительно, умеет...

Какой покой наступает, когда думаешь, что цвет детства — цвет колодезной воды в горсти, вкус детства — вяжущий вкус рябины, запах детства — запах грибов в ивовой корзине. Как делается в душе прозрачно и хорошо. Но об этом почти никогда не думаешь. А говоришь еще реже. Потому что это никого не касается. Все равно что пересказывать сны... А они здесь удивительно раскрашены. Красок этих нет ни в сером небе, ни в бедной природе, ни в реденьком свете чего-то с серого неба поблескивающего. Но не убогость дня рождает цвет под веками — много в мире убогих юдолей, длящихся и в снах. Не красками, но мыслями о красках пропитано *это место*. Кто-то налил по горло в этот город ярчайшие сны. Я вижу, как идет по тротуару Среднего Нурия Рушановна. Она погружена в обычное свое дурацкое глубокомыслие. Вот достает она из сумки банан, гроздь которых я подарил ей по случаю татарского сабантуя, и неторопливо сама с собой рассуждает, немо шевеля губами, что Антон-де Павлович Чехов, не-дай-бог-пожалуй-чего-доброго, был германо-австрийский шпион, ведь последними словами, которые произнес он перед смертью, были: «Ихь штербе» — «Я умираю». «Нет, — думает Нурия Рушановна, — фон Книппер-Чеховой не по зубам вербовать классика. Вероятно, Антона Павловича подменили двойником на Сахалине или по пути туда-обратно». Счетовод-товаровед удивляется прыти колбасников и, обходя лужу, словно невзначай, роняет на асфальт у дома, где живет герой моего сна, банановую кожурку. Колготки на суховатых икрах Нурии Рушановны забрызганы капельками грязи. А вот дворник Курослепов — циник и полиглот. Он знает три основных европейских языка плюс португальский и латынь. Курослепов уверен, что лучшие слова, какие можно сказать о любви, звучат так: «Фомин пошел на улицу, а Софья Михайловна подошла к окну и стала смотреть на него. Фомин вышел на улицу и стал мочиться. А Софья Михайловна, увидев это, покраснела и сказала счастливо:

«как птичка, как маленький». Эти слова написаны на обоях его комнаты, над кроватью. Курослепов метет тротуар у дома, где живет герой моего сна, который еще не появился, который появится позже. Метла брызжет в прохожих жидкой грязью. Банановая кожанка не нравится дворнику, он сметает ее за поребрик, едва не налепив на замшевый ботинок спешащего господина. Подметая тротуар, Курослепов, разумеется, думает, что занимается не своим делом. Мысль, весьма чреватая мышью, возвращенная расхожим заблуждением, будто человек выползает в слизи и крови из мамы для какого-то *своего* дела. Нахальство какое-то... Метла и Курослепов исчезают, как кириллические юсы, куда-то за предел сознания, в архетип, в коллективное бессознательное, что ли — не помню, что за чем. Они сделали *свое* дело. К тротуару мягко подкатывает девятая модель «Жигулей». За рулем сидит некто, при первом взгляде напоминающий колоду для — хрясь! — разделки туш, т.е. вещь грубую, но в своем роде важную. Однако если остановить здесь скольжение взгляда хотя бы до счета восемь, то на три колода станет шаловливо надутой предохранительной резинкой, на пять — выковыранным из колбасы кусочком жира, а к концу счета — соринкой в глазу, которую и не разглядеть вовсе, а надо просто смыть. Некто — приятель героя моего сна, который скоро появится. Здесь у них назначена встреча. Они собрались в Апраксин Двор покупать краденые патроны для общего — на двоих — пистолета Стечкина. Собственно, цель не важна — пистолета я не увижу, — важна встреча, а причина — почему бы не эта? В той же девятой модели сидит подружка героя моего сна. От бровей до тонированной родинки на подбородке лицо ее нарисовано — губы, словно из Голландии, — тюльпаном, синие ресницы напоминают порхающих речных стрекоз. В среде естественной стрекозы эти в парники не залетают. Она — наездница, самозабвенная путешественница. Не раз ночами она скакала в такие дали, что, воротясь, искренне удивлялась открытию — в пути, оказывается, она сменила коня. Герой моего сна об этом не знает, он считает себя бессменным скакуном. Его подружка думает так: «Когда я стану старой, когда голова моя будет сорить перхотью, когда живот мой сползет вниз, когда на коже появятся угри и лишние пятна — тогда я, пожалуй, раскаюсь и стану дороже сонма праведников, а пока кожа моя туга, как луковица, и, как луковица, светится, я буду развратничать и читать Эммануэль Арсан». Некто и наездница с нарисованным лицом встретились еще вчера. Но герою моего сна не скажут об этом. Ему соврут, что они встретились... Впрочем, соврать ему не успеют. А вот и герой моего сна. Он выходит из подворотни походкой человека, который ломтик сыра на бутерброде всегда сдвигает к переднему краю. Контур его размыт, подплавлен, словно я

смотрю сквозь линзочку, и объект не в фокусе. Импрессионизм. Светлые невещественные струйки стекают по контуру к земле, привязывают его к субстанции, словно это такой ходячий памятник. Свет не течет ни вверх, ни в стороны — герой моего сна заземлен. Кажется моросит. На миг объект заслоняет кошмарная девица в куртке от Пьеро — из рукавов торчат лишь кончики пальцев, ногти покрыты зеленым лаком. По странному капризу воображения, персонифицированная Атропос представляется вот такой — хамоватой недозрелкой с зелеными ногтями. Герой моего сна подходит к девятой модели «Жигулей» и, глядя на пассажирку, простодушно поднимает брови. Та в ответ целует разделяющий их воздух. «На-ка, поставь», — говорит некто, протягивая над приспущенным стеклом щетки дворников. Герой моего сна склоняется над капотом. Зеленый ноготок судьбы незримо тянется к нему, не указуя, не маня, а так — потрогать: готов ли? «Поторапливайся, — говорит некто, — а не то умыкну твоего пупса...» — и шутиливо газует на сцеплении. Герой моего сна весело пружинит в боевой стойке, как выпущенный из табакерки черт, и тут невзначай наступает на банановую кожанку. Кроссовка преступно скользит, нога взмывает вверх, следом — другая, руки беспомощно загребают воздух, будто он пытается плыть на спине, и герой моего сна с размаху грохается навзничь. Голова с тяжелым треском бьется о гранитный поребрик. Удар очень сильный. На сыром темно-сером граните появляется алая лужа. Пожалуй, в этом есть какая-то варварская красота. Герой моего сна без сознания. Он жив.

— А сам-то?.. — спросил парень, трудно улыбаясь. — Сам-то веришь в этих... этих...

— Призванных? Разумеется, — сказал Коротыжин. — Ты пьешь чай, который прислал один из них.

— Кто ж их призвал? За каким бесом?

— Кто? — Коротыжин поднес к губам чашку — на глади чая то и дело взвивалась и рассеивалась белесая дымка. — Должно быть, часть той части, что прежде была всем. Как там у тайного советника: «Ихь бин айн тейль дес тейльс, дер анфангс аллес вар». Лукавый язык. На слух — бранится человек, а поди ж ты... Так вот, кто и зачем — это тайна. Знакомый мой пламенный говорил, что таких как он — не один десяток, и что действует некий закон вытеснения их в особую касту: отличие от окружающих, непонимание и враждебность с их стороны заставляют призванных менять место и образ жизни до тех пор, пока они не сходятся с подобными. — Снаружи неслась водяная кутерьма, брызги от проезжающих машин долетали до стекла витрины и растекались по нему широким гребнем. — Есть у

пламенников особое место, как бы штаб или совет, там в специальной комнате на стенах висят портреты, написанные с каждого его собственной кровью. Стоит кому-то открыть тайну, вроде того — кем и зачем призваны, как сразу портрет почернеет. И тогда достаточно выстрелить в портрет или проткнуть ножом, и пламенник тотчас умрет, где бы он ни находился.

— Розенкрейцера соната... — Парень отпил из чашки и поморщился. — Сахар у тебя есть?

Коротыжин достал из-под прилавка майонезную баночку с сахаром Нурии Рушановны. Сам Коротыжин чай никогда не сладил — он находил, что сахар прогоняет из напитка чудо, которое в нем есть.

— Так вот, — сказал Коротыжин. — Моего пламенника в Московии сильно увлекла медвежья охота. К этому ремеслу он подступил еще в пору бортничества — над крышей колоды подвешивался на веревке здоровенный чурбан, который тем сильнее лупил медведя в лоб, чем сильнее тот отпихивал его лапами. Так — разбивая в кровь морду — доводил упрямый зверь себя до изнеможения. Или готовился специальный лабазец — сунет медведь лапу в щель, пощупает соты, а тут — бымс! — захлопнется доска с шипами, и, как зверь ни бейся, погибает дурацкой смертью: разбивает ему ловец задницу палкой, отчего вмиг пропадает медвежья сила... — При известии о медвежьей слабинке парень прыснул в чай. — Я знаю об этом отчасти со слов пламенника, отчасти из книги «Чин медвежьей охоты», которую написал тот же пламенник в бытность свою пестуном у княжичей в Суздале. Разумеется, капканы были баловством — настоящая охота начиналась тогда, когда мужики ловили зайца и с рогатинами шли к берлогу. У берлоги начинали зайца щипать — медведь заячьего писку не выносит — и тем подымали зверя. Вставал мохнач, разметав валежник, на дыбы, и тут кто посмелее, изловчась, чтобы зверь не вышиб и не переломил рогатину, всаживал железное острие медведю под самую ложечку. Зверь подымал рев на весь лес, а ловец упирал рогатину в первый корень и был таков, — медведь же, чем больше бился и хватался когтями за рогатину, тем глубже загонял острие в свое тело. Оставалось охотникам добычу ножами добить и поделить по уговору... Но если упустят ловцы медведя, то нет тогда зверя ужасней на свете — всю зиму он уже не ложится, лютует, ломает людей и скот, выедаёт коровам вымя...

— И долго?.. — Парень тяжело сглотнул, будто вернул в глотку грубоватое для слизистой слово. — Долго твой призванный небо коптит?

— Вот смотри... — Коротыжин шаркнул к стеллажу и снял с полки пухленький том в шестнадцатую долю листа.

Том был в ветхом кожаном переплете цвета старой мебели, с приклеенным прямо к блоку корешком, настоящими бинтами и желтыми неровными обрезами. Шершавый титульный лист гласил: «Чинъ медвъжьей охоты». Шрифт был подтянутый, но чуть неровный, словно часть литер прихрамывала на правую ногу. Далее следовало: «Съ Латынскаго на Россійской языкъ переведень въ Нижнемъ Новъгородъ. Москва. Въ Типографіи у Новикова. 1788». Авторство указано не было.

— Пламенник написал это в пятнадцатом веке на русском, — сказал Коротыжин. — Впоследствии, проживая в Италии, он перевел рукопись на латынь и преподнес ее папе Пию II как документ, позволяющий глубже постичь упрямый оплот греческой схизмы. Книга была издана в папской типографии. С нее и сделан обратный перевод на русский, так как оригинал утрачен. — Коротыжин отложил матово-бурый, в потеках, том. — Ну, а что с ним было до пятнадцатого века, пламенник рассказывать не любит. Еще я знаю, что он посильно помогал Пискатору в составлении карты Московии...

— А про медведей — все? — Из пачки проклюнулась вторая сигарета.

— Отчего же... Казалось бы, что ему медведь — он мог шутя заставить зверя служить себе, лишь начертав в воздухе знак, мог убить его заклятьем, но он хотел испытать над ним не победу своей таинственной силы, а честную победу того, что было в нем человеческим. Завалив с десятков медведей ватагой, пламенник принялся ходить на зверя один на один. Готовился загодя — собирал сколько мог телячьих пузырей и сыромятной кожи, обтягивал ими затылок, шею и плечи, залезал в протопленную печь и сидел там, пока не ссыхались на нем доспехи тяжелой броней. Потом два дня точил широкий обоюдоострый нож, привязывал его крепко-накрепко ремешком к руке, надевал на броню полушубок, подхватывал рогатину и шел к берлоге или на медвежью тропу, где мохнач ревел по зорям. Зверь, чутьем врага узнав, вставал на дыбы и кидался на ловца, — тут впивалась ему в грудь рогатина и сердила до последней меры. Пока медведь свирепствовал, боролся с рогатиной, с корнями вырывал кусты и зашвыривал их в пространство, пламенник укрывался за деревом и караулил удобную минуту. А как подкараулит, заслонит лицо локтем, бросится на зверя и порет ему ножом шкуру от ключицы до клочка хвоста, пока не вывалятся сиреневые потроха. Страшно, а что делать — отступи только, медведь задерет и высосет мозги. — Коротыжин смочил горло чаем. — Так и действовал всякий матерый медвежатник и так ходил один на один, пока не заваливал тридцатого медведя. А после тридцатого перестает страх бить в сердце, и никакой медведь больше не уйдет и не ломает.

Коротыжин замолчал, щелкнул линзочкой ногтя по чашке и посмотрел за окно, где струи дождя от полноты сил сделались матовыми, непрозрачными.

Мне есть что не любить в жизни — волосы, прилипшие ко дну и стенкам ванны, потные ладони скупердяя, бездарное соитие дневного света с охрой электричества, свое лицо, будто сочиненное Арчимбольди, воздух, от присутствия известной породы тусклый и излишне плотный. Тем не менее следует признать, что в окружающем пространстве героя моего сна определено почти не осталось. Он словно бы умалился, стоял, как запотевшее от дыхания пятно на стекле. Называя его героем моего сна, я уже делаю усилие, — разглядеть его стоит труда. Разглядываемый — инвалид, клинический дурачок, он живет с семьей своей сестры и совершает странные прогулки, не выходя, скажем, из журчащих удобств. Он спускается под землю, в тайные лабиринты неведомых храмов, блуждает по мерцающим норам, видит черные озера, скрижали с загадочными письменами, уснувших до благодатных времен титанов, горы изумрудов и сторожевых при них котов. А иногда душа его, скрепленная с покинутым телом серебряной ниткой, воспаряет в горние миры и постигает неведомое, но прозрения, как визуальный эффект молнии, повествовательно невыразимы. Случается, правда, что фигурки в шафрановых одеждах, те, что притягивают за серебряную нитку душу, словно воздушного змея, обратно, делают свое дело нерадиво — тогда герой моего сна становится саламандрой, огонь манит его, он — хозяин огня, его дух, но сестре не нравится метаморфоза, и она отправляет саламандру пожить в Коломну, в выходящий окнами сразу на две реки дом. В этом доме полы шестнадцатого отделения, где из раза в раз гостит дух огня, покрыты кремовым линолеумом, окна зарешечены, а на обед дают галоперидол и жареную рыбу с трудно отстающим от скелета мя... тем, что покрывает рыбы кости. Перед обедом гостям позволено клеить в столовой коробочки под наборы пластилина. Героя моего сна к этой работе не допускают, потому что он без всякой меры пьет крахмальный клейстер. Кстати, вечером в столовой можно смотреть телевизор. Информация не включает в себе облегчения и света — просто что-то же должно быть кстати. Врач, заведующий шестнадцатым отделением, чье лицо мне весьма знакомо, встречался с героем моего сна до того, как тот поскользнулся на банановой кожуре, но оба этого не помнят. Я вижу их встречу так. Весна. Восьмое марта. Пятница, что, впрочем, неважно. Герой моего сна вместе с приятелем, владельцем девятой модели «Жигулей» (он же «некто»), без особого дела едет по Английскому проспекту. На углу Офицерской улицы, у кафе-мороженое, машина, клюнув носом,

тормозит перед голосующей рукой. Владелец руки и есть зав. шестнадцатым отделением. Назван адрес. Приятели не упускают легких денег. Машина медленно и тяжело, решительно не соответствуя бойкой музычке, что насвистывает в салоне приемник, катит по разухабистой Офицерской. Кругом вздыблены трамвайные рельсы, гнилые обломки шпал, разбросаны невпопад бетонные кольца и прочая канализационная бижутерия. Слово «ремонт» зловеще щетинится во рту, из нейтрального становится едким, как скипидар, — не произнося, его следует выплюнуть. «Это не улица, — говорит некто, — это рак матки, это запущенный триппер». — «Таков весь мир, — говорит зав. шестнадцатым отделением, мотаясь на кренящемся сиденьи из стороны в сторону. — В общем-то, весь мир похож на старый лифт, в котором нагадил спаниель, наблевал сосед Валера и семиклассник с четвертого этажа нацарапал голую бабу, но лифт, тем не менее, ездит вверх-вниз». Машина наконец сворачивает на Лермонтовский проспект и по мокрому, лоснящемуся асфальту — на вид ему, вроде бы, следует пахнуть дегтем, — мимо витого, как раковина, шелома синагоги, мимо обескрещенных луковок (церковные луковки, в вас поволжский немец разглядел символ луковой русской жизни) церкви Священномученика Исидора Юрьевского, рассекая перламутровую весеннюю дымку, летит к Садовой. «Странно, восьмого марта закрыт музей поэта, написавшего стихи о Прекрасной Даме. Вы не находите это нелепым? — После риторического вопроса следует риторический ответ — зав. шестнадцатым отделением протягивает герою моего сна фотографию. — Вот. Из личного архива. Хотел подарить музею». Фотография наклеена на плотное паспарту, помеченное на обороте овальным штампом: «С.-Петербургъ, «Ненадо», В.О., 6 линия, 28». От руки орешковыми чернилами, почти не выцветшими в здешней сырости, дописано: «1911 годъ». На снимке — павильон фотографического ателье, задник задрапирован тканью, в центре стоит одноногий, в стиле модерн, столик, за которым, по одну сторону, с выражением удивления на протяжном лице сидит Александр Блок, а по другую, закинув ногу на ногу, выставив из-под брючины вызывающе белый носок, красиво улыбается объективу зав. шестнадцатым отделением. «Вы очень похожи на своего прадедушку», — говорит герой моего сна, возвращая снимок. «Здесь каждый похож на себя. — Хозяин карточки обижен, как домочадец, принятый гостем за прислугу. — Мы с Александром Александровичем прошли весь Васильевский остров, прежде чем нашли ателье, которым владел русский — у немцев и евреев Блок сниматься отказывался». Воздух заполняется сухим электричеством, энергией отчуждения, которая относится к влажному электричеству, энергии карнавального амикошонства, как отчество к имени, как веко к глазу — так, вроде бы. Кроме того,

первое едва-едва потрескивает, а последнее смотрит по сторонам в поисках чего-нибудь голого. Потом приехали, куда ехали, и пассажир вышел. Зав. шестнадцатым отделением не помнит этой встречи, потому что считает, что его голова не мусорный ящик, но вспомнил бы, подвернись случай (потускневшее, словно оно абажур, под которым с потерей ватт сменили лампочку, лицо саламандры таким случаем не явилось). Герой моего сна не помнит эту встречу, потому что, при ударе о гранитный поребрик, просыпал сквозь прореху в черепе свою предыдущую жизнь. Он как бы вновь родился, но за грехи — тварью низшей. Итак, все вроде бы на месте, все расставлены в надлежащем порядке. Чуть смазывает картину муть естественной избыточности жизни, планктон бытия, зыбь параллельных возможностей и необязательности происходящего, пусть их смазывают — без них куда же? Я вижу героя моего сна сквозь туман его желаний. В ванне воды — по кромку. Градусов сорок. Герой в воде по самый нос, глаза его прикрыты, а душа — душа высоко летит, почти слепая от света. Шафрановые человечки сверяются со временем, с чем-то, что его меряет, и решают тянуть нить, решают, что душа героя моего сна нагулялась. Однако нынче они нерадивы — серебряная нитка срывается с какого-то блока и со скрежетом, рывками мотается на ось — не на то, на что следует. Словно рак-отшельник с мягким брюшком, душа без раковины тела пуглива и до обморока впечатлительна, она возвращается потрепанной и не узнает себя: она видит себя саламандрой и требует смены среды. Герой моего сна открывает глаза, слепые, как жидкое мыло, вылезает из ванны, идет на кухню и зажигает на плите все конфорки... Герой моего сна открывает глаза — вода доходит ему до носа, — вылезает из ванны и, как туча, оставляя за собой дождь, идет на кухню, где зажигает на плите все конфорки... Глаза героя моего сна открыты, они похожи на жидкое мыло, он подымает красивое тело из ванны, как туча, оставляя за собой дождь, идет по пустой квартире на кухню, зажигает на плите все конфорки и, ухватившись руками за решетку, бросает лицо в огонь. Кожа лопается раньше, чем затлевают мокрые волосы. Удивительно, но он не кричит.

— Что дуло залепил?

— В Купчине открылся клуб породного собаководства «Диоген», — сказал Коротыжин.

— Ну и что?

Коротыжин прищурился и за шторкой ресниц обнаружил пену, сообщество пустот, прозу, составленную из сюжетов и восклицательных знаков.

— Не скачи, как тушкан, — сказал парень, — досказывай.

Ветхий кожаный том вновь оказался в руках Коротыжина и с тихим хрустом разломился.

— Но самое ценное в этом труде не руководства по практике медвежьей охоты, не способы добычи чудодейственного медвежьего молока, не рассказы о сожительстве вдовиц с мохначами и об оборотнях у таких вдовиц рождающихся, а ряд советов, полезных и ныне, о том, как вести себя при встрече с лесным хозяином. — Коротыжин утвердил палец на нужном месте. — Совет первый: «Притворись мертвым, дабы князь лесной, стервой брезгующий, погнушался тобою, лапою пнув. Оное притворство требует выдержки немалой, но живот твой выручит и от увечий тяжких избавит; гляди только — пластайся, пока сам в чаще не пропал, потому, коли узрит обман, никаким мытом уже не откупитися и новым обманом живота не отстояти». Совет второй: «Аще повстречав зверя сего в лесу березовом или разнодеревном, оборотись окрест и пригляди березу к взлазу годную, на оную березу взлазь и терпи, покуда медведь восвоюсь не отойдет. Березна кора гладкая, в баловном малолетстве медвежатки на те березы лазают и с них крепко падают — науку оную до старости поминают и тебя с березы имати не станут и в соблазн не войдут». — В глазах Коротыжина блеснули светлые лучики. — А это, точно про нас... «Аще при встрече с сим зверем, коли будет близ скала или валун великой, то вокруг оной скалы или валуна от зверя кружити следует и в хвост ему выйти. Князь лесной след берет по чутью, на нос, и в недоумии зверином не ведает, как кругом идет, и разумети не может, каково бы оборотится или встать обождать. Зверь сей силою в лапах и когтях зело богат, да дыхом слаб и сердцем недюжен, посему, в хвосте у медведя идучи, как услышишь одых хрипом, ступай смело, каким путем лучится, потому зверь сердцем сник и погоню сей миг бросит». А дальше... — Книга в руках Коротыжина захлопнулась. — Дальше пламенник делится кое-какими секретами ворожбы и говорит, что при встрече с медведем кстати может оказаться клубок просмоленной веревки, заговоренный печерским ведьмаком оберег, сухая известь, вываренный крестец летучей мыши, серебряная откупная гривна, печень стерлядки, нетоптанная черная курица и... кажется, все. Но с таким багажом встретить мишку — случай редкий. Так-то вот. В тот раз выходил пламенник из Руси под личиной княжеского посла со свитой из переодетых скоморохов. Путь держал через улус Джучиев и державу Тимуридов — хотел осмотреть судьбу всяких пределов...

— Слушай, Слива, — сказал вдруг парень, — а кто в штабе у этих призванных портреты сторожит? Тот, стало быть, и атаман, раз жизням их хозяин?

Коротыжин на миг задумался.

— Нет, — сказал он, — не атаман. Ему, конечно, от пламенников уважение, но в дела всякого призванного сторож не допущен. Да и портреты заговоренные — если пламенник тайну хранит, а в портрет кто-то ножиком тычет, тот сам и окочурится. Сторожу это известно.

Дождь за окном ослаб. Осовелая витрина смотрела на стучащий мимо трамвай.

— Что же, и судьбы читать твой пламенник научился?

— А как же, — сказал Коротыжин. — Дело-то пустяковое — они ведь уже кончились.

— Сам что ли пробовал? — Трудная улыбка вновь села на круглое лицо парня. — А скажи-ка мне, Слива...

— Пожалуйста. Смерть твоя, в продолжение жизни, будет дурацкой. Ты поскользнешься на банановой шкурке и пролomiшь череп о гранитный поребрик. Из больницы ты выйдешь идиотом и остаток дней поделишь между домом и набережной Пряжки. Твоего лечащего врача будут звать Степан Периклесович — он тоже пламенник... А однажды ты сожжешь лицо на газовой плите и через три дня умрешь в больничной палате, потому что гной из твоих глазниц прорвется в мозг. — Коротыжин плеснул в опустевшую чашку медной заварки. — А когда все это будет, не скажу. Смысла нет — это уже случилось.

Лицо парня плавно отвердело, словно оно было воск и его сняли с огня. За окном матовая занавесь раздернулась, и теперь лишь редкие капли шлепались в лужи со светлеющего неба.

— Хамишь, Слива, — нехорошо сказал парень. — Ну вот что... школьная задачка — прежнее на полтора умножь. Теперь так будет. Шевелись, говорун!

— Помилуй, — спокойно сказал Коротыжин. — Я масспродукта не держу. Наркотиков там всяких из целлюлозы и типографской краски...

— Теперь так будет, — повторил парень. Лицо его было твердым, казалось — сейчас посыплется крошкой. — Товар твой — и вправду дрянь. Но раз аренду тянешь, так и за покой плати — а то, гляди, выгорит лавчонка... — Парень оттолкнул свою чашку, та стукнулась о заварник и едва не опрокинулась. — А не по карману — место не занимай. Насосанные люди осядут.

Коротыжин встал, сыро пробурчал под нос: «Тупо сковано — не наточишь...» — и отправился в комнату за подсобкой, где оформлял торговые сделки и хранил в сейфе документы и выручку. Спустя минуту на журнальный столик легли четыре пачки денег. Две — сиреневые, две — розовые. Букеты не пахли. Парень взял деньги, взвесил в руке и, доверяя банковской оплетке, без счета сунул в карман спортивной куртки.

— Спасибо за чай, — сказал он. — Привет пламеннику...

Парень подошел к двери, на улице — вполоборота круглой головы — плюнул в лужу. Зевотни глядя во след посетителю, Коротыжин снял со стекла табличку «обед», вспомнил про оставленный открытым сейф и направился вглубь лавки.

Дверь в комнату была обита листовым дюралем и снабжена надежным замком. На трех стенах в один ряд висели старые, обрамленные черными багетами портреты, писанные, похоже, кошенилью по желтоватой и плотной хлопковой бумаге. Посреди пустого стола лежала пара спелых, уже чуть крапчатых, как обрезы старых книг, бананов — остаток грозди, купленной утром по случаю татарского сабантуя в подарок Нурие Рушановне.

Прежде чем закрыть сейф, Иван Коротыжин, по прозвищу Слива, сунул руку в его выставленную сукном утробу, вытащил из-под флакона штемпельной краски тетрадь, в синем бархатном переплете, и сделал запись под четырехзначным номером: «Солярный миф Моцарта — Гелиос улыбчивый, свершающий по небу ежедневные прогулки; солярный миф Сальери — потный Сизиф, катящий на купол мира солнце».

Александр Новаковский

Август

(10 стихотворений)

Память листает тетради минувших пропаж,
Все на ладони, как ключ от чужого замка:
Дом Бенуа. Под колоннами слева. Четвертый этаж.
Можно на лифте. Направо. Два длинных звонка...

1990

И снова в ту же реку. Что там дважды:
Столь часто, сколько жизни. Остывает,
Как память, наша чаша. День ли каждый
Подтачивает сердце. Все бывает

Не вовремя. Разгадывай итоги,
Запнувшись, возвращайся к середине.
На разные вступившие дороги,
Мы оглянулись и стоим доныне,

Подобно той, не вынесшей ухода,
Любившей то, что прожито, сильнее,
Чем Бога, мужа, будущие годы...
Но Лот ушел, а не остался с нею.

Река течет, меняя наши лица
И незаметно исправляя даты.
Не оглянуться — хоть остановиться.
И снова в ту же реку, как когда-то...

1991

1

Всему свой срок. Ленивые созвучья
Растворены в тяжелом летнем зное.
Скрипят деревья, растопылив сучья,
И кто-то громко дышит за спиною.

Иссохло время. Из мешка худого
Не извлеку ни радости, ни страха...

Дух дышит там, где плоть уже готова
Внимать, гореть и восставать из праха.

2

Те узелки на память, что когда-то
Завязывал до времени, до срока,
Истлели, расползлись по прошлым датам,
Забытым строчкам — ни следа, ни прока

Мне не оставив. Лишь наполовину
Построенные храмы. Кто там ныне
Сдирает мох, замешивает глину
И молится в сверкающей долине...

3

Слова сливаются, прибита пыль дождями,
По скользкой глине — лужи. Влаги вата
Пропитывает время. Дни за днями
Плывут, чуть захлебнувшись. Виновато

Сутулятся деревья у оврага,
Укрыв ворон в карманах и прорехах...
Бормочут губы: «Пронеслась ватага
Часов добра и зла»... И не до смеха.

1991

Псалом 41

Как лань стремится свой бег к потокам влаги,
Душа моя к Тебе стремится, Боже,
Сквозь немоту исписанной бумаги,
Сквозь все, что плоть преодолеть не может.

Я день и ночь слезами, словно хлебом,
Был сыт. И пьян от праздного глумленья:
«Ну где твой Бог? Давно пустое небо
Лишь прикрывает наши вожделенья».

Тебя я славил, но душа печальна,
Над нею бездна призывает бездну,
Шум водопадов песнью погребальной
Разносит клочья жизни бесполезной.

Уныл, смущен, почти лишен отваги,
Я без Тебя безгласен и ничтожен...
Как лань стремится свой бег к потокам влаги,
Душа моя к Тебе стремится, Боже.

1993

* * *

Черный август прячет лето
Под подкладкой облаков,
И теряет крошки света
Тень исчезнувших домов.

Из пустых провалов ночи
Чьи-то слышатся слова.
Глуше, тише и короче
Этих месяцев глава.

Сколько лет в горсти осталось,
Сколько прожито уже,
Сколько нам всего досталось
На четвертом этаже...

1993

* * *

А.С.

Ночное средство перемолвить скуку:
Так далеки и время и страна,
Что кажется: протягиваю руку
Из пустоты неснившегося сна.

Набор созвучий не тревожит стены,
Нагроможденья лет, людей, границ...
Давно любовью кажутся измены
Когда-то ненаписанных страниц.

1993

* * *

Трава и дождь, сплетаясь воедино,
Опутывали души и тела.
Желтели листья липы и рябины.
Мы в комнате сидели у стола.

Шуршала мышь, скрипели половицы,
Смеялась дочь, раскинувшись во сне.
И мотыльки сидели, словно птицы,
Застыв на облупившейся стене.

Жена сказала: «Морок предосенний
Тут что ни день становится страшней:
Пора домой от этих опасений,
От шорохов вечерних и теней».

Кончалось лето. Бормоча невнятно,
Стирал поспешно, хмуро, невпопад
Лиловой лапой розовые пятна
По облакам разбрызганный закат.

1990

* * *

Я написал бы, да боюсь слова
Коварно мстят за наше постоянство,
Обиняком, намеками, едва
Цепляясь за дрожащее пространство.

О, если б тени, отраженья нас,
Я говорил бы, не боясь подмены,
Но сколько раз, родная, сколько раз...
Ты помнишь: трубы, рухнувшие стены...

Я не хочу, чтоб время истекло,
И напишу про август, дождь и лужи.
Позволить звукам... И не так тепло.
Я написал бы... Лист осенний кружит.

1993





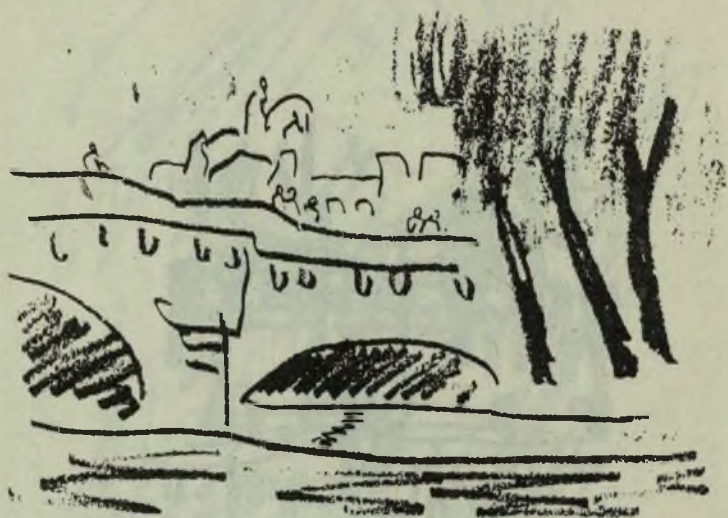
also

Aug 91

BOOKSTAND



НИКОЛАЙ
ДРОННИКОВ



Самым большим в Томске собранием парижских изданий, составленных, — иллюстрированных, собственноручно набранных и отпечатанных И. Дронниковым, обладает Мстислав Князев, студент университета, всерьез занимающийся историей Русского зарубежья. Вглядываясь в их затейливое типографское оформление и привыкая к иронической образности книг, ощущаешь себя втянутым в диалог с автором, размышляющим чаще всего о России и её изгнанниках. О воздействии русской диаспоры на умонастроение современной России. О скрытом и явном влиянии событий в ней на войны мнений в эмиграции.

Недаром письмо к Дронникову в 84-м году А. Солженицын закончил так: «От души желаю вам успехов в отстаивании истины о нашей заплеванной родине. Жму руку».

Небольшие сборники И. Дронникова привлекательны и для

библиофила. Чем? Следами ручной выделки, до какой-то розановской интимности — украшением изданий собственными гравюрами, игрою шрифтов, графическими цитатами из дореволюционных книг, заставочками, радующими глаз мелочами. Малым тиражом: 275-500 экземпляров и все — «номерные», с монограммой автора: «ДН». Нередко на последней странице объявляется: «по техническим и эстетическим причинам в книге отсутствуют заглавные буквы и знаки препинания».

Прозу Дронникова Мст. Князев представит в другом месте. Цель моей заметки — познакомить читателей (поневоле поверхностно) с его графикой и биографией.

«Родился в 1930 году 2 августа в Тульской области, в поле, возле деревни Будки, — пишет он себе. — Хозяйство отца, Дронникова-Коновалова, середняцкое, и мать помогала убирать урожай».

Первые уроки изобразительного искусства Николай получил от брата и начинал как скульптор. Вместе с московскими мальчишками он дежурил во время авианалетов, рыл траншеи в осажденной столице, голодал. Служа в армии (в Красноярске), участвовал в выпуске свободного журнала «Морж». За это особых репрессий не последовало. Зато, учась в институте имени Сурикова, он вошел в группу «Классики», которую в 61-м ждала жестокая расправа идеологических надзирателей.

«В 67-м году — вспоминает Дронников — содействовал пересылке материалов о процессе над Синявским и Даниэлем на Запад. В Париже содействовал выезду Синявских сюда».

Портреты А. Синявского вошли в альбом графических набросков Дронникова «Русский в Париже» (1980), запечатлевших в острой, подчеркнуто лаконичной манере лица С. Лифаря и А. Галича, Н. Горбаневской и В. Максимова, А. Пятигорского и В. Некрасова, И. Одоевцевой и Н. Струве.

«Солженицын вяжет узлы, а Дронников соединяет звенья», — заметил поэт Кирилл Померанцев. В том, что это не каламбур, а точное наблюдение, убеждают выпуски «Статистика России 1907 - 1917. Записная книжка Н. Дронникова» (вышло в свет шесть). В них в соответствии с жанром — цитаты из редких документов, кусочки воспоминаний, выписки из периодики, справочников, гравюры.



Изданные, точнее, изготовленные Дронниковым книжечки останавливают взгляд уже одним только видом. Вот оттиснутые красным по белому цветы, напоминающие кисти, резцы и ножи художника, небрежно поставленные в кружку. Ниже подпись: «У Шагала». Впечатления от встречи с мэтром в 85-м дополнены мыслями о судьбе его творчества и откликами на его кончину.

А вот зеркально-серебряная обложка с черным тиснением: «Геннадий Айги». Так оформлена сюита из 16 портретов феноменального русского поэта из Чувашии, лишь в последние годы публикуемого у нас. Отрывок из «Письма о Малевиче» Романа Якобсона и поэма «А» Виталия Амурского (с посвящением Дронникову) создают смысловую полифонию.

Сборнику «Стихи, Бунин-Сирин» (куда вошла также белая поэзия Бальмонта и Северянина) предпосланы на титульном листе слова еп. Феофана: «Владычица Богородица! Сохрани русский народ русским во всем». Эпиграф этот раскрывает средоточие тревог и главный мотив творчества Николая Дронникова.

Борис Пойзнер.

«Томский вестник», 17.09.1991

Это вариант книги
Айи. Сейчас я делаю
иллюстрации к книге
Евгѣ Будиной российским
альбом - вариант с
рисунками ой руки.

На многообразие
моё счастье.

Николай Бродников

Париж 28 авг.
Уже 20 лет как я здесь

айги
ДИТЯ-И-РОЗА

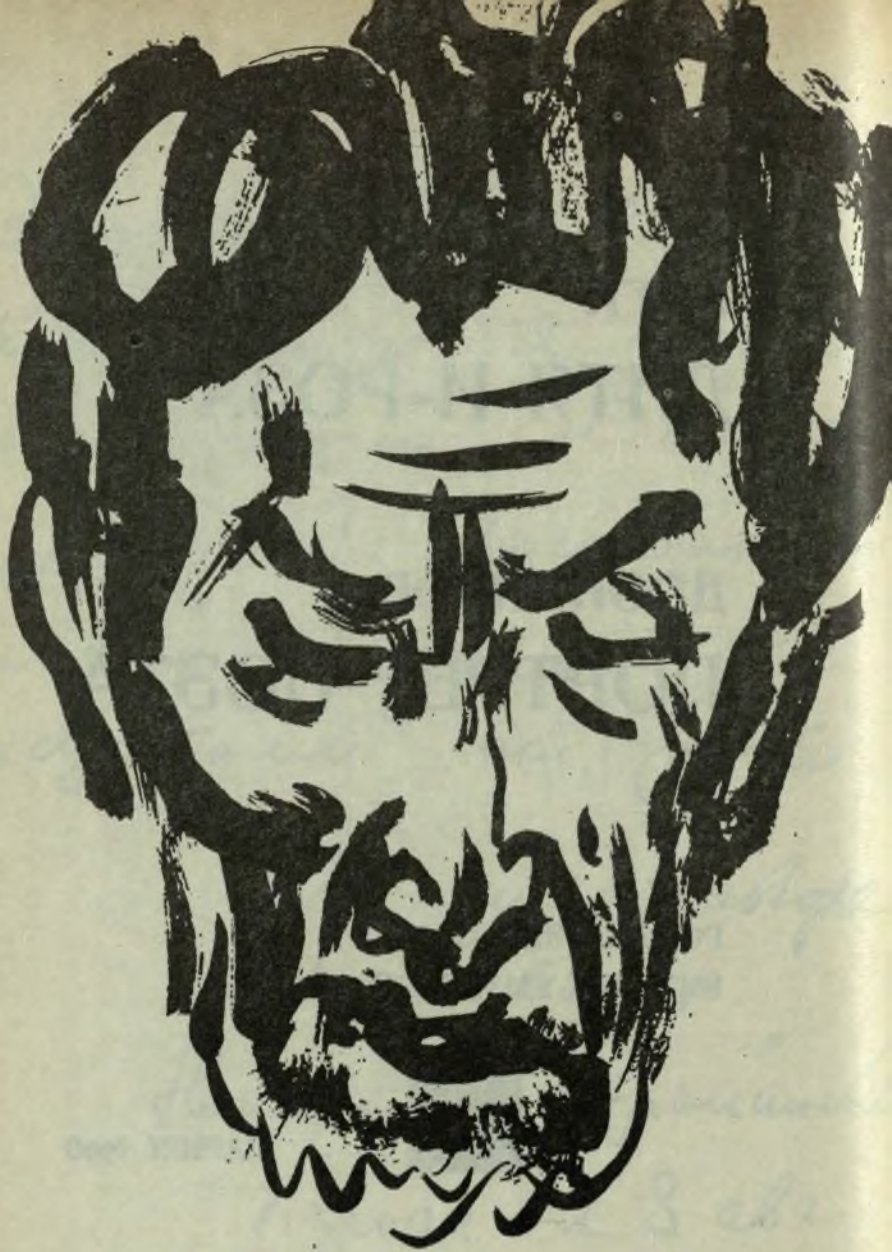
дронников
ПОРТРЕТ ПОЭТА

Текст

РОМАНА ЯКОБСОНА и
ВИТАЛИЯ АМУРСКОГО



ПАРИЖ 1990

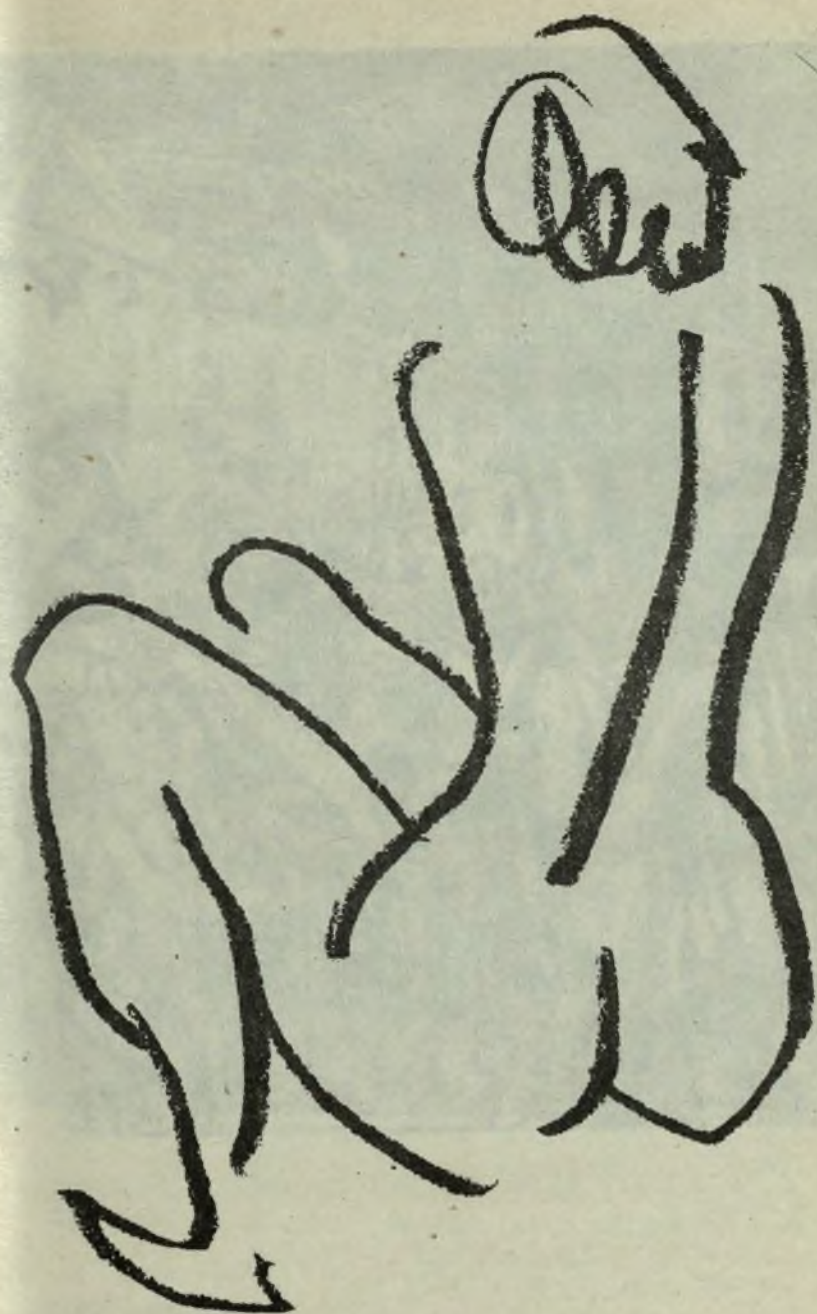


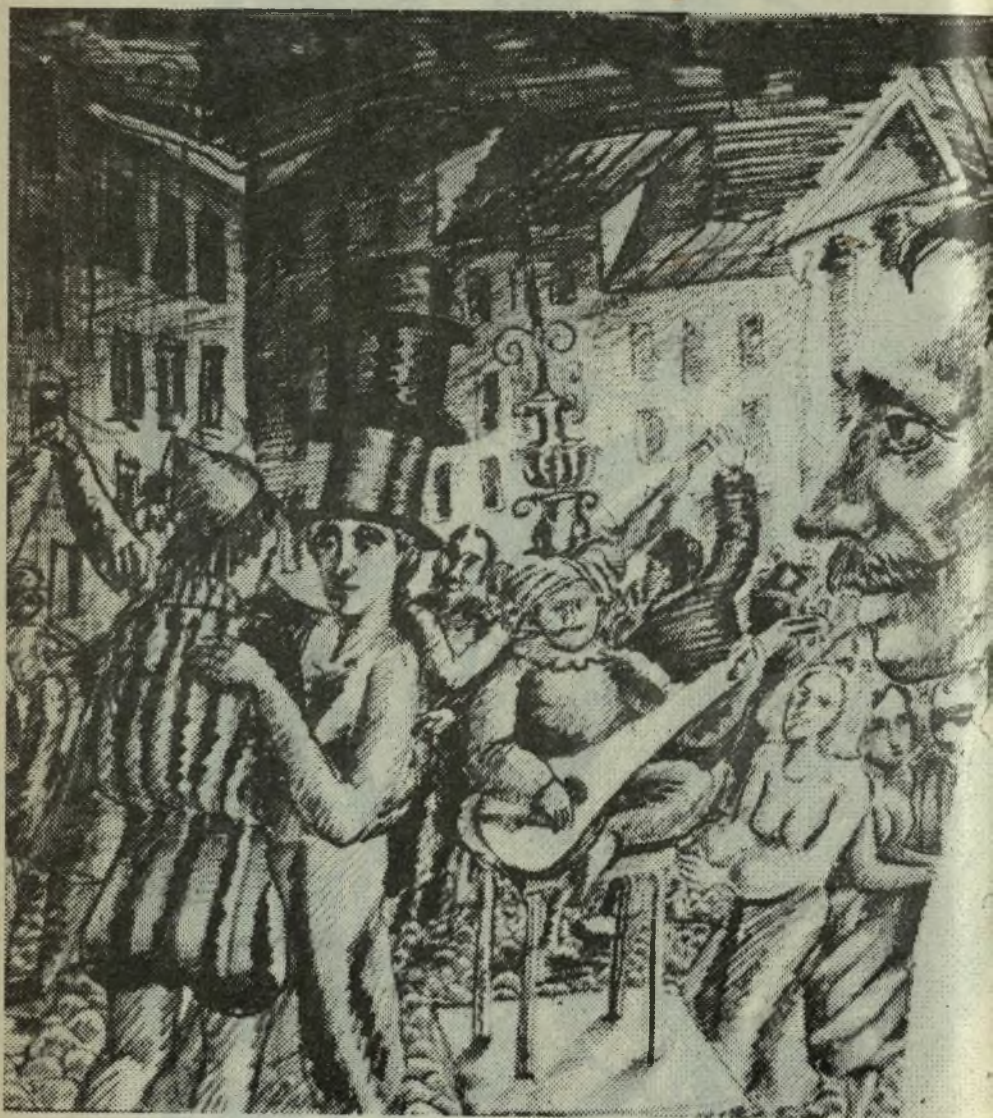


Am

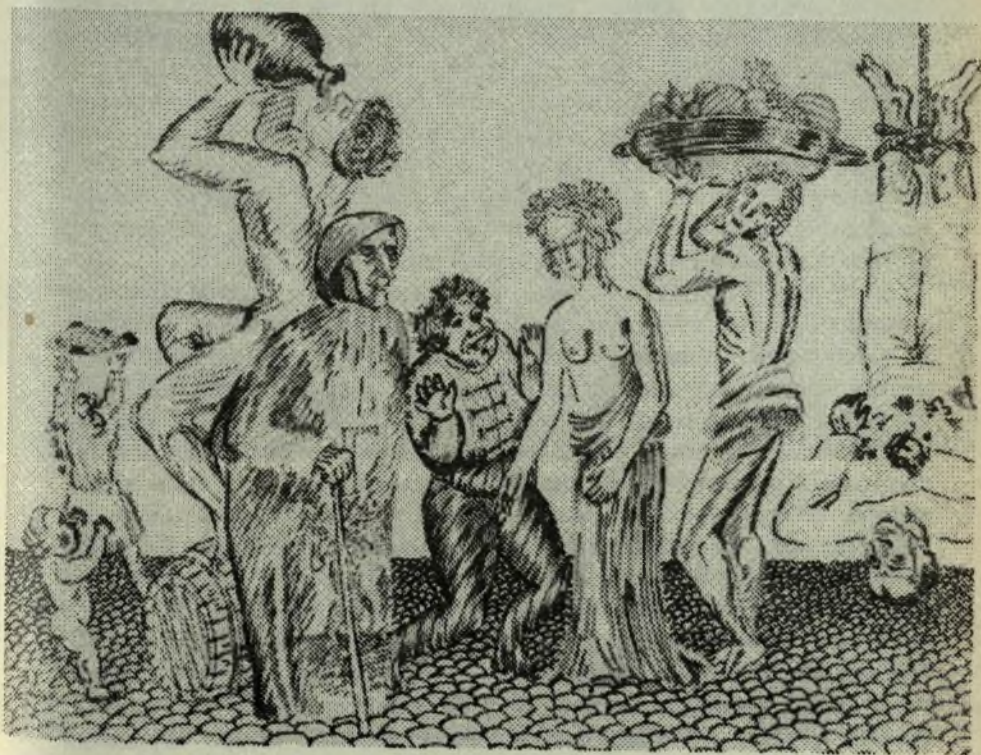


Квостенко





ГЛАСНЫЕ И СОГЛАСНЫЕ



АНДРЕЙ КРУСАНОВ

МАРИНЕТТИ В РОССИИ

Активное изучение истории русского авангарда, начавшееся в 1960-х — 1970-х годах, как ни странно, привело не только к появлению ряда серьезных работ по этой проблеме (Н.Харджиев, V.Markov, Л.Жадова, С.Хан-Магомедов и др.), но и породило новые легенды. В частности, обросла легендами история пребывания в России вождя итальянских футуристов Филиппо Томмазо Маринетти. Статьи о Маринетти в основных справочных изданиях (Краткая литературная (КЛЭ) и Большая Советская (БСЭ) энциклопедии) написаны сотрудницей ИМЛИ, переводчицей и литературоведом Златой Михайловной Потаповой. С ее легкой руки КЛЭ утверждает, будто Маринетти приезжал в Россию в 1913 году¹. В БСЭ З.М.Потапова решила поправить явную ошибку, но сделала это очень неудачно, заявив, что Маринетти «был в России в 1910 и 1914 гг.»².

Легенда о том, будто первый визит Маринетти в Россию состоялся в ноябре-декабре 1910 года, имеет, по-видимому, довольно длинную и запутанную историю. Впервые сведения о нем появились в некоторых зарубежных исследованиях³. Возможно, легенда о «первом визите» с подачи самого Маринетти должна была обосновать гипотезу о решающем влиянии итальянского футуризма на формирование футуризма русского. При этом Маринетти выступал как бы в образе творца, собственноручно давшего первый толчок одному из наиболее значительных движений в русской и мировой культуре XX века. Хотя итальянский искусствовед Б.Гориели твердо заявляет, что Маринетти приезжал в Петербург в ноябре 1910 г. и провел несколько вечеров в «Бродячей собаке», встречаясь с Д.Бурлюком, М.Ларионовым и Н.Гончаровой⁴, это утверждение совершенно голословно, фантастично и не выдерживает ни малейшей критики. Начать с того, что художественно-артистическое кабаре «Бродячая собака» в ноябре 1910 г. просто не существовало, оно было открыто

1 КЛЭ. М., 1967, т.4, с.617.

2 БСЭ, 3-е изд. М., 1974, т.15, с.372.

3 G. Lehrmann. De Marinetti a Malakovski. Fribourg, 1942.

4 B. Goriely. Le avanguardia Letterarie in Europa. Milano, 1967, p.56.

5 Парнис А.Е., Тименчик Р.Д. Программы «Бродячей собаки». // В кн. Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1983. Л., 1985, с.160-257.

лишь 1 января 1912 г.⁵ Д.Бурлюк в своих многочисленных воспоминаниях ни одним словом не упоминает о встречах с Маринетти в 1910 году. Впрочем, и самого Д.Бурлюка не было тогда в Петербурге. Вместе с братом Владимиром он жил в Одессе, где исправно учился в художественном училище. Что же касается



Боччони, Савини, Маринетти и Карра. 1911.

Ларионова и Гончаровой, то в ноябре 1910 г. они также отсутствовали в Петербурге, занимаясь в Москве активной подготовкой к выставке «Бубновый валет», открывшейся 10 декабря 1910 г. Много позднее, в конце 1940-х годов, узнав об этом «первом визите», Ларионов и Гончарова недоуменно спрашивали в частном письме, действительно ли Маринетти посещал Россию в 1910 г.⁶ Дальнейшие комментарии, очевидно, излишни. Необходимо констатировать, что на сегодняшний день нет никаких документальных подтверждений визита Маринетти в Россию в ноябре-декабре 1910 г. Однако, пытаясь как-то смягчить необоснованность легенды, некоторые итальянские искусствоведы

⁶ Минувшее (Paris), 1988, вып.5, с.177-179.

⁷ M.Calvesi. Il futurismo russo. // L'arte moderna N 15. Milano, 1967, p.285, 445.

выдвигают предположение, что это был какой-то частный визит⁷, документальное подтверждение которого также отсутствует. В рамках этой версии уже нет нужды говорить о каком-либо личном влиянии Маринетти на формирование русского футуризма, а «первый визит» становится лишь туманным эпизодом биографии Маринетти, не имевшим отношения к искусству.

Ряд русских искусствоведов, живущих как в России, так и за рубежом, исключает возможность «первого визита»⁸. Что же касается самого Маринетти, то во время гастрольной поездки в Россию (1914), он ни одним словом не обмолвился о каком-либо предыдущем вояже. Подобное молчание и само поведение Маринетти во время турне может служить косвенным свидетельством того, что легенда о «первом визите» возникла после этой гастрولي, вероятно, в конце 1930-х — начале 40-х годов.

Очевидно, только некомпетентностью можно объяснить ошибки автора статей в КЛЭ и БСЭ, а также общим недостаточным уровнем изученности начальных стадий русского и итальянского футуризма. История итальянского футуризма известна у нас еще меньше, нежели русского. В связи с этим, вероятно, не лишним будет краткий обзор бурной биографии Маринетти, и, в частности, единственной достоверной его поездки в Москву и Петербург, состоявшейся в январе-феврале 1914 года.

«С вершины мира мы бросаем вызов звездам».

Ф.Т.Маринетти

Филиппо Томмазо Маринетти родился 22 декабря 1876 года в Египте⁹ (Александрия), в богатой итальянской семье адвоката Энрико Маринетти. Его детство прошло в Париже, где он учился в Колледже святого Франсуа Ксавье. Уже в детстве он не отличался законопослушностью и был исключен из колледжа за подпольное распространение некоторых романов Золя. В дальнейшем он изучал право и закончил образование в гётуэзском университете (1899 г.).

Еще в колледже Маринетти основал литературный журнал «Папирус», писал стихи и посещал символистские кружки. В 1898 г. он победил в поэтическом конкурсе, представив поэму «Старые моряки», написанную белым стихом. Он часто бывал в Париже и

8 См.: V.Markov. Russian futurism: a history. Berkeley, 1968, p.400, прим. 40; A.Nakov. Alexandre Exter. Paris, 1972, p.7.

9 З.М.Потапова в КЛЭ указывает ошибочное место рождения Маринетти: Александрия, близ Генуи (КЛЭ, т.4, с. 616).

Милане, публиковал стихи в различных журналах и пропагандировал в Италии поэзию символистов. Со многими писателями и поэтами у него завязались дружеские отношения. В 1902 г. на французском языке была опубликована его первая книга «Завоевание звезд», получившая благожелательную рецензию Джана Пьера Лучини. За первой книгой последовали другие: «Разрушение» (1904), поэма «Кровавая мумия» (1904), комедия «Король-кутеж» (1905). В это же время Маринетти основал в Милане международный журнал «Поэзия» (1905-1909), в котором сотрудничали авторитетные представители французского символизма, а также Э.Верхарн, А.Хольц и В.Брюсов. Постепенно вокруг Маринетти складывается кружок поэтических соратников (Д.Лучини, Г.Гоццано, П.Буцци, Э.Кавакиоли, Ф. Де Мария, А.Палаццески), а журнал перерастает в одноименное издательство.

Однако, все это лишь предыстория. История началась 20 февраля 1909 года. В этот день в парижской газете «Фигаро» Маринетти опубликовал эссе «Футуризм» ("Le futurisme")¹⁰. Содержащиеся в нем хлесткие лозунги, направленные против всего старого и традиционного («Избавить Италию от всей заразы — историков, археологов, искусствоведов, антикваров», «Ташите огня к библиотечным полкам!», «Направьте воду из каналов в музейные склепы и затопите их!», «Крушите древние города!»), — все эти лозунги базировались на новой — футуристической эстетике: воспевание риска, дерзости, неукротимой энергии, смелости, отваги, бунта, наглого напора, горячего бреда, строевого шага, оплеухи и мордобоя. Война провозглашалась единственной очистительной силой. Маринетти восторгался милитаризмом, разрушительной силой анархизма, идеалами уничтожения всего и вся: музеев, библиотек, морали, соглашателей и обывателей. Наряду с культом техники провозглашалось презрение к женщине и т.п.

В Италии этот манифест распространялся через журнал «Поэзия», в качестве книжных предисловий и многочисленными листовками. В устах Маринетти подобная эстетика была отнюдь не бравадой, она имела глубокое внутреннее обоснование, органично совмещалась с поведением и поступками вождя. Так, реагируя на негативную критику весной 1909 г., он дрался на дуэли, отстаивая свое реноме французского писателя.

Толчок был дан. Под футуристическое знамя собирались единомышленники. Первые футуристические вечера состоялись в

¹⁰ Другие названия этого эссе, встречающиеся в русской и иностранной литературе: «Манифест футуризма», «Первый манифест футуризма», «Обоснование и манифест футуризма» — являются более поздней синонимикой. В первой публикации подзаголовок «манифест футуризма» находится внутри текста и открывает одиннадцать пунктов футуристической программы.

Триесте (12 января 1910 г.), Милане (15 февраля 1910), Турине (8 марта 1910), Неаполе (20 апреля 1910), Венеции (1 августа 1910), Падуе (3 августа 1910). Воинственный настрой футуристов вызвал ответную реакцию публики. Начались перепалки, драки. О вечере в Неаполе Маринетти писал: «Нас в течение целого часа забрасывали множеством разных предметов. Мы, по обыкновению, не поколебались, оставаясь на местах и посмеиваясь. (...) Внезапно, под градом картофеля и гнилых фруктов, я поймал на лету брошенный в меня апельсин. Я очистил его с величайшим спокойствием и принялся есть ломтик за ломтиком¹¹. Тогда свершилось чудо. Станный энтузиазм овладел этими милыми неаполитанцами, мои свирепые враги начали один за другим аплодировать, и исход вечера оказался в нашу пользу. Я, разумеется, поспешил отблагодарить новыми оскорблениями эту ревущую толпу, внезапно охваченную восхищением, которая поджидала нас при выходе из театра, окружила кольцом и образовала достославный кортеж, провожавший нас с приветственными криками по улицам Неаполя».

В июле 1910 г. выпуском «Футуристического манифеста венецианцам» итальянские футуристы начали кампанию против пассивной Венеции. «Мы отвергаем старинную Венецию, истощенную болезненными вековыми наслаждениями (...). Мы отвергаем Венецию иностранцев, рынок плутоватых антиквариеров и старьевщиков, магнитный полюс снобизма и всемирной глупости, кровать, продавленную бесчисленными караванами любовников (...). Мы желаем подготовить рождение Венеции промышленной и военной, которая будет господствовать над Адриатическим морем». Через год (июнь 1911) была распространена «Футуристическая прокламация к испанцам», в Лондоне Маринетти произнес «Футуристическую речь к англичанам».

Итальянский футуризм с момента провозглашения не ограничивался сферой искусства, создав целостное всеобъемлющее мировоззрение. Политическая программа итальянского футуризма была изложена Маринетти в «Первом политическом манифесте» (1909), «Втором политическом манифесте» (1911), «Политической программе футуристов» (1913), романе «Мафарка-футурист», вышедшем в 1910 г. на французском языке и сразу же переведенном на итальянский. Сам Маринетти в то время сотрудничал в анархистском журнале «Разрушение». По-видимому, в начале своей эволюции итальянский футуризм тяготел именно к анархизму. Тяга к войне и разрушению проходит через всю историю итальянского

¹¹ Вероятно, этот эпизод впоследствии был обыгран В.Каменским в беллетризованных мемуарах «Путь энтузиаста» (Пермь, 1968). При этом место действия перенесено на улицы Москвы, апельсин не бросается, а вручается Маяковскому из толпы.

футуризма. В этом контексте участие Маринетти в качестве военного корреспондента в итало-ливийской войне (1911-1912) выглядит вполне закономерно. Было даже объявлено, что на время его отсутствия футуристическое движение приостанавливается. С возвращением Маринетти футуризм вспыхнул с новой силой. Были опубликованы «Музыка футуризма — технический манифест» Ф.Б.Прателлы, «Кодекс Перелы» А.Палаццески, «Электрическая поэзия» К.Говони, «Битва у Триполи» Маринетти и др.

В 1912 г. издательство «Поэзия» выпустило антологию «Поэты-футуристы», открывавшуюся «Техническим манифестом футуристической литературы». Это теоретическое обоснование принципов футуристической поэзии и прозы, принадлежащее перу Маринетти, содержало следующие более или менее обоснованные тезисы: синтаксис надо уничтожить, а существительные ставить как попало; глагол должен быть в неопределенной форме; надо отменить прилагательное и наречие; пунктуация больше не нужна; движение нужно передавать цепочкой ассоциаций; сплетать образы нужно беспорядочно и вразнобой; освободить литературу от авторского «я», от психологии и т.д.

Из-за этого манифеста, а также из-за разногласий по ливийскому вопросу у Маринетти произошел раскол с Д.П.Лучини, который отошел от группы и опубликовал статью «Как я перерос футуризм». Между тем к футуризму примкнули не только поэты, но и художники, музыканты, скульпторы. Возникло женское футуристическое движение. Все эти проявления итало-французского футуризма с 1912 года объединяла «Дирекция футуристического движения» с резиденцией в Милане и филиалами в других городах¹².

Художники-футуристы в 1912 г. выставлялись в Париже, Лондоне, Берлине, Брюсселе, Амстердаме, Монако, Гамбурге и Вене. Маринетти выступал в Париже и Лондоне. Вскоре им были выпущены манифесты «Разрушение синтаксиса — беспроволочное воображение — Слова на свободе» и «Театр варьете». Л.Руссоло выпустил манифест «Искусство шумов» (1913), Валентина де Сент-Пуан — «Футуристический манифест похоти», Гийом Аполлинер — «Антитрадиция футуризма». Были изданы «Белые стихи» П.Буцци. Во Флоренции Папини и Соффичи основали журнал «Лачерба» (1913-1915), примкнувший к футуристическому движению. Различные футуристические вечера проходили в Риме (21 февраля и 9 марта 1913), Флоренции (12 декабря 1913). Живопись футуристов демонстрировалась в Чикаго, Роттердаме, Флоренции,

¹² Маринетти рассказывал Б.Лившицу о трудностях с поиском помещения для «дирекции».

Домовладельцы один за другим расторгали контракты, т.к. кошачьи концерты, которые устраивали студенты футуристам, не давали спать жильцам. Маринетти пришлось купить дом (Б.Лившиц. Полутороглазый стрелец. М., 1991, с. 182).

Риме. В Палермо и Пизе была показана пьеса Маринетти «Электричество». А в октябре 1913 г. Маринетти снова в качестве военного корреспондента отправился в Софию и во время болгаро-турецкого конфликта участвовал в осаде Андиянополя.

В 1913 году футуризм превратился уже в международное движение, распространился от Британских островов до Японии. Столь стремительному, лавинообразному развитию своему футуристическое движение во многом было обязано таланту вождя.

Образ Маринетти — яркого итальянского националиста, материалиста, атеиста и бунтаря, пылкого фанатика машинности и сверхиндустриальности — этот образ станет ярче, если его дополнить такими качествами характера как порывистость, экспансивность и личная храбрость. Это был цельный, достаточно искренний и бескомпромиссный человек, у которого слово не расходилось с делом. Это — оратор, трибун и вождь. Охотно верится, что Маринетти обладал «способностью, скользя взглядом по окружающей его толпе, безошибочно угадывать, что ей нужно, чем ее можно взять наверняка»¹³.

Он — теоретик, идеолог и организатор.

Был ли он поэтом? Даже если отказать ему в этом литературном звании, в широком смысле Маринетти, без сомнения, поэт.

Был ли он драматургом? Во многих зарубежных энциклопедиях Маринетти фигурирует в этой ипостаси. Но в широком смысле — он не только драматург, но и главный режиссер, и активный участник гигантского массового действия под названием «итальянский футуризм».

Российская столичная пресса, пристально следившая за новинками западно-европейской культуры, обратила внимание на итальянский футуризм уже в марте 1909 года. Опубликовав перевод манифеста и подобрав русский эквивалент термина «футурист» — «будущник», критик весьма поверхностно сопоставил положения манифеста Маринетти с творчеством русских поэтов-символистов Брюсова, Блока и др., бодро заявив при этом: «Нам, собственно, не в чем завидовать гг. футуристам, пожалуй, еще сами «учителей поучим» насчет модернизма тем и исполнения»¹⁴. Никаких аналогий с развитием русского авангарда у критиков еще не возникало. В редких заметках иностранных корреспондентов сообщалось о выступлениях итальянских поэтов-футуристов, об их движении, цитировались положения манифеста. Сначала либеральные критики

13 Б.Лившиц. Полутораглазый стрелец. М., 1991, с.178.

14 Panda. наброски современности. Футуристы. // Вечер, 1909, N 269, 8 марта, с.3.

были настроены весьма скептически относительно перспектив итальянского футуризма. «Вряд ли это течение оправдывает свое название и завоюет будущее», — писал один из них¹⁵. «Футуризм не имеет никакой надежды на успех», — добавлял другой¹⁶. Первая реакция русской консервативной прессы на итальянский футуризм была также неожиданна. Проповедь войны, милитаризма, разрушения музеев, библиотек русские консерваторы охарактеризовали как «интересное движение»!¹⁷ Литераторы из «Аполлона» сочли, что «Милан — единственный город, где могло создаться движение такой большой важности». Сообщалось о скандалах итальянских футуристов, об осуждении Маринетти на два с половиной месяца тюрьмы за порнографию, обнаруженную в его романе «Мафарка-футурист», о публичном сожжении в Париже футуристами произведений русских композиторов Глазунова, Римского-Корсакова, Мусоргского, Скрябина¹⁸, об устроенном футуристами скандале во время представления «Саломеи» в Париже, шедшей с увертюрой и «Танцем семи покрывал», написанными А.К.Глазуновым. Впрочем, Глазунов заявил корреспондентам, что не стоит обращать на сей факт внимания. «Если футуристам наша музыка не нравится — Бог с ними»¹⁹.

Постепенно термин «футуризм» становился популярен в России, но употреблялся в 1912 г. в узком смысле, наравне с кубизмом, для обозначения лишь одного из направлений в новейшем искусстве.

В отличие от итальянского футуризма, впервые проявившегося в поэзии, русский авангард зародился среди художников на рубеже 1907/08 годов. Работами многих искусствоведов установлено, что на его формирование оказала влияние новейшая французская живопись (кубизм, сезаннизм), усвоенная и переработанная русскими художниками «Бубнового валета», «Союза молодежи». Не меньшее влияние оказали национальные (икона, народный лубок) и восточные формы (Япония, Китай, Персия, Византия). В этом контексте влияние принципов итальянского футуризма на живопись и поэзию русского авангарда не имело сколь-нибудь решающего значения и, вероятно, может быть квалифицировано как недолгое увлечение ими ряда поэтов и художников, как некий переходный этап в их творческом развитии. Тем не менее термин «футуризм»

¹⁵ М.Осоргин. «Люди будущего». // Русские ведомости, 1910, N34, 12 февраля, с.4; см. также: М.Осоргин. Футуристы и их поэзия. // Русские ведомости, 1910, N 197, 27 августа, с.4.

¹⁶ Е.Дмитриев. Геростраты XX века. // Биржевые ведомости, веч. вып., 1912, N 12842,

¹⁷ марта, с.4.

¹⁸ С.-Петербургские ведомости, 1910, N 86, 16(29) апреля, с.3

¹⁹ Россия, 1912, N 1957, 1 апреля, с. 4; Новое время, 1912, N 12989, 11 (24) мая, с.7

¹⁹ Биржевые ведомости, 1912, веч. вып., N 12974, 6 июня, с.3; утр. вып., N12975, 7 июня, с.6.

прочно закрепился за одним из ранних этапов развития русского авангарда. Это объясняется тем, что на более общем идейно-художественном уровне оба движения сближались яркой

Триумф марионетти.



Въ Миланѣ.



Въ Москвѣ.

Карикатура Неро.

антитрадиционностью, отрицанием преемственной связи с «искусством прошлого» и устремлением к «искусству будущего». С некоторой долей условности можно считать, что они шли в одном направлении, но разными дорогами. Подобную близость итальянского футуризма с молодым русским искусством многие поверхностные журналисты и критики тех лет выдавали за подражательство и

ученичество русских футуристов. И эта версия имела успех не только среди критиков, но и у публики 1910-х годов.

Русский футуризм тех лет представляли несколько конкурировавших и сотрудничавших между собой поэтических и художественных группировок: «Гилея», эго-футуристы, «Мезонин Поэзии», «Бубновый валет», «Ослиный хвост», всёки, «Союз молодежи». Причем конкуренция, доходившая до вражды, явно превалировала над сотрудничеством. Так, группировавшиеся вокруг М.Ларионова и Н.Гончаровой художники летом 1913 года выпустили манифест «Лучисты и будущники», в котором отмежевались от всех других группировок русского футуризма и демонстративно протягивали руку итальянским футуристам. (Очень скоро стало ясно, чего стоил этот жест). Наибольшую лояльность к итальянскому футуризму проявляли, видимо, члены «Мезонина Поэзии» В.Шершеневич и К.Большаков, а также один из всёков, Илья Зданевич, который в ряде лекций 1913 г. пропагандировал принципы итальянского футуризма. Члены «Гилеи» (В.Хлебников, В.Маяковский, Б.Лившиц, Д.Бурлюк, В.Каменский и др.) отказывались признавать за Маринетти роль учителя или вождя. Напротив, один из лидеров петербургского эго-футуризма И.Игнатьев объявил творчество участников группы плодом западных веяний.

В русском футуризме, в отличие от итальянского, отсутствовали какие-либо централизованные и координирующие структуры типа миланской «Дирекции» с ее жесткими догматами. Это, без сомнения, способствовало раскрепощению сознания, большей свободе творческих исканий поэтов и художников и придало русскому футуризму то неповторимое многообразие, при котором в рамках одного движения оказались И.Северянин и А.Крученых, А.Лентулов и К.Малевич.

В 1913/14 годах русский футуризм переживал время бурного расцвета, активный период «бури и натиска». Интерес публики к этому движению постоянно подогревался скандальными диспутами, лекциями, выставками и иными действиями русских футуристов. В то же время газеты знакомили публику с итальянским футуризмом. Писали, что во время выборов в Риме футуристы выпустили манифест с политической программой.

Избиратели футуристы! Вашими голосами вы должны оказать содействие осуществлению следующей программы:

— (...) Все свободы, за исключением свободы быть трусом, пацифистом и антиитальянцем.

— Большой флот и большое войско, ибо война одна только и является гигиеной мира.

Антиклерикализм и антисоциализм.

Культь прогресса, скорости, спорта, физической силы, героизма, опасности в противовес музеям, библиотекам и руинам.

Уничтожение академий и консерваторий.

Минимум профессоров и адвокатов. Побольше землевладельцев, инженеров, химиков, механиков, дельцов (...).

Упоминалось о защите интересов рабочего класса, отмене туристского бизнеса и т.д. Осуществление этой программы, пояснялось в манифесте, спасет Италию ото всех зол и избавит страну от клерикально-либеральной программы с одной стороны и от демократическо-социалистической с другой.

Будучи достаточно богатым для проведения предвыборной кампании, Маринетти выставил свою кандидатуру в парламент. Он не получил большинства голосов, но их значительное количество указывало, что к его кандидатуре относились серьезно.

После выборов Маринетти вернулся к искусству. В начале декабря 1913 г. русские газеты сообщали об одном из его выступлений.

(...) Во Флоренции в театре имени Верди происходило собрание, на котором итальянские футуристы предполагали ознакомить публику со своими взглядами на искусство, со своими задачами и желаниями.

Еще до появления футуристов зал стал оглашаться пронзительными свистками. При появлении на сцене первого из лекторов — Маринетти — на сцену посыпался град тухлых яиц, картофеля и яблок. Тем же самым, при пронзительных свистках, сопровождалось восхождение на сцену и следующих лекторов — Папини, Карра, Соффичи и др.

Вся эта адская музыка продолжалась в течение двух часов. У рампы сменяли друг друга футуристы, держа в руках листы бумаги и шевеля губами. О чем они говорили — никто из публики не слышал. «Спектакль» кончился тем, что кто-то попал Маринетти картофелем в глаз.

Публика разжалобилась и устроила раненому футуристу несколько более дружелюбные проводы.

Вскоре один из русских журналистов (М.Осоргин) сообщил Маринетти, что Маяковский на одном из вечеров отрицал преемственную зависимость российского футуризма от итальянского. Маринетти, претендовавший на роль первооткрывателя и вождя всемирного футуризма, ответил высокомерно: «Конференция, о которой вы мне пишете, есть изолированный случай, так как бесчисленные статьи русских журналов, которые я получаю, и

многократные приглашения прочесть в России лекции ясно показывают, что русский футуризм (пусть он применен к специальным нуждам славянских рас и направлен на борьбу со специфическими формами пассаизма) ведет начало от нашего итальянского футуризма. Эта непосредственная зависимость ясно провозглашена футуристами английскими, французскими, немецкими и за последнее время даже японскими. Я другой стороны, я не отрицаю, что антитрадиционные, антипассаистские, т.е. почти футуристические настроения могут быть рассеяны здесь и там в неясной форме и в писаниях какого-нибудь русского поэта, который не знал наших манифестов и наших книг. Но в данном случае не может идти речи о футуризме и еще нет признаков действительного переворота в искусстве и подлинной великой футуристической атмосферы. Разрушение синтаксиса и слова на свободе, пластический динамизм в живописи и скульптуре, искусство шумов, суть, наряду со многими другими, открытия и изобретения, вышедшие из нашей итальянской футуристической группы»²⁰.

Маринетти вообще был невысокого мнения о футуристах «славянской расы». Он говорил: «Русские быстро схватывают и усваивают наши идеи, но им не хватает последовательности. Так они, усвоив манеру живописи, оставляют старое содержание. Что толку в футуризме, если футуризм служит ему для нового изображения античной Венеры! У вас одной рукой хватаются за новое, другой держатся за старое. И все северяне таковы. Потому-то я и заявляю, что полную революцию в искусстве может создать лишь футуристический гений итальянской нации, который всегда, везде и во всем шел и будет идти впереди».

Русские газеты писали, что «апостол электрической религии, просветив свою родину и все страны Западной Европы, является просвещать нас», и что «скоро раздастся проповедь настоящего футуризма, потому что все бесчисленные диспуты г-под Бурлюков и Маяковских никакого отношения к футуризму не имели, а были просто так, — чепуха и безобразие»²¹. Подобные мнения высказывались и в консервативной и в либеральной прессе²². По-видимому, противники русского футуризма для борьбы с ним не прочь были привлечь себе в союзники Маринетти.

Приезд Маринетти ожидался 24 января 1914 года, но вождь задержался на два дня в Милане. Воспользовавшись удобным

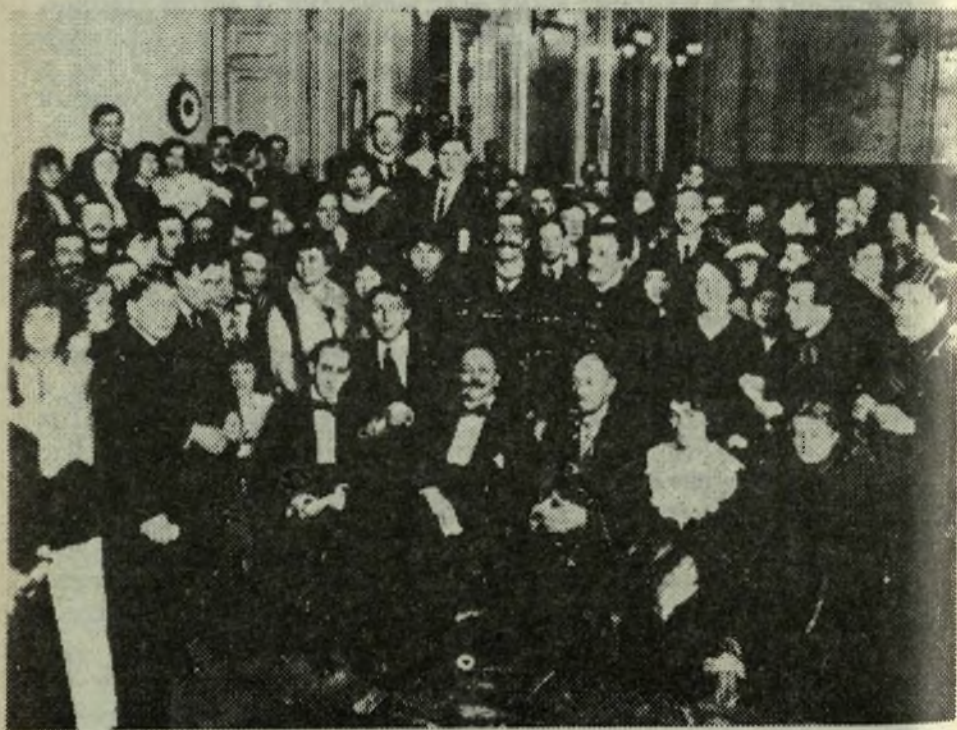
20 Русские ведомости, 1913, N 300, 31 декабря.

21 Русское слово, 1914, N 19, 24 января (6 февраля), с. 7

22 см.: Московский листок, 1914, N 20, 25 января, с. 3; Голос Москвы, 1914, N 14, 18 января, с. 4;

Московская газета, 1914, N 297, 27 января, с. 5-6.

случае, Михаил Ларионов мистифицировал сотрудника «Голоса Москвы», заявив ему в интервью, будто с приездом Маринетти произошел курьез. Вместо того, чтобы попасть к футуристам, он оказался в компании людей ничего общего с футуристами не имеющих. В то время как московские футуристы не ждут от него ничего нового²³. Журналист, не проверив полученных сведений,



*Вечер Маринетти в зале Калашниковской биржи.
Петербург. 1 февраля 1914 г.*

сдал их в редакцию под видом своей работы, и заметка была опубликована. В тот же день мистификация раскрылась, оскандалившегося журналиста срочно уволили²⁴, но правдоподобность ларионовской мистификации превзошла все ожидания.

Маринетти приехал в Москву 26 января 1914 г. по приглашению русских уполномоченных международного общества «Societe de Grandes conferences» (Г.Тастевен, Н.Кульбин и др.). На вокзале его

23 Голос Москвы, 1914, N 20, 25 января, с.5.

24 Прodelка московских футуристов. // Голос Москвы, 1914, N21, 26 января, с.8.

встречали человек сорок самой разнообразной публики: представитель пригласившего его общества Г.Тастевен и А.Н.Толстой, члены московской итальянской колонии, несколько журналистов, любопытные. От русских футуристов были лишь «умеренные» В.Шершеневич и К.Большаков. Торжественно приветствовал гостя Генрих Тастевен, видевший в приезде Маринетти как бы символ победоносного движения футуризма на восток²⁵. В.Шершеневич преподнес Маринетти сборник манифестов итальянского футуризма в своем переводе на русский язык. Маринетти произнес ответное слово:

— Я рад приехать в Россию. О России я был совершенно превратного мнения. Я думал попасть в страну снегов, но теперь вижу, что это вулкан под легким слоем пепла, готовый вспыхнуть²⁶.

Окончив речь, он сфотографировался, сел на лихача и уехал. Как и предсказывал Ларионов, Маринетти очутился в компании людей, не имевших с футуризмом ничего общего. Его засыпали цветами, надушенными дамскими записочками, водили в картинные галереи, чествовали на банкетах.

Между тем, среди московских футуристов разразилась полемика, вызванная их различным отношением к приезду Маринетти. Ларионов, еще недавно в манифесте «Лучисты и будущники» демонстративно протягивавший руку итальянцам, публично заявил, что Маринетти изменил принципам футуризма, превратив его в религию с кодексом догматов.

— Мы устроим ему торжественную встречу, — заявил Ларионов. — На лекцию явится всякий, кому дорог футуризм как принцип вечного движения вперед, и мы забросаем этого ренегата тухлыми яйцами и обольем его кислым молоком! Пусть знает, что Россия — не Италия, она умеет мстить изменникам²⁷.

Н.Гончарова на вопрос журналиста: «Поедете ли вы встречать Маринетти?» — отвечала: «Меня этот субъект мало интересует»²⁸.

Москвичи ожидали скандала. Устроитель лекций Маринетти в Москве Г.Тастевен счел нужным заявить, что им приняты некоторые меры «против хулиганских выходов» на лекциях²⁹. В.Шершеневич, протестуя против того, что Ларионов говорил от имени всего русского

25 Русские ведомости, 1914, N 22, 28 января, с.5

26 Русские ведомости, 1914, N 22, 28 января, с.5; Русское слово, 1914, N 22, 28 января, с.6-7; Голос Москвы, 1914, N 22, 28 января, с.5; Руль, 1914, N 447, 27 января, с.2; Московская газета, 1914, N 297, 27 января, с.6; Вечерние известия, 1914, N383, 27 января, с.3.

27 Вечерние известия, 1914, N 381, 24 января, с.2

28 Там же. См. также Раннее утро, 1914, т. 20, 25 января, с. 4; Московская газета, 1914, N 297, 27 января, с.6.

29 Раннее утро, 1914, N 20, 25 января, с.4.

футуризма, в свою очередь заявил, что «слова и угрозы Ларионова не имеют никакого отношения к намерениям русских футуристов»³⁰. К Шершеневичу присоединился К.Малевич, заявивший, что «забрасывание тухлыми яйцами, обливание кислым молоком, а также пощечины, на чем строит свой футуризм и популярность лучист Ларионов, принадлежат дикой толпе». Малевич доводил до всеобщего сведения, что группа русских футуристов-художников во главе с лучистом Ларионовым ничего общего не имеет и ограждает себя от такого главы³¹. Ларионов отпарировал: «Декадентски-сентиментальные стихи Шершеневича свидетельствуют о том, что их автор даже не является футуристом в том понимании футуризма, какое проповедует Маринетти». По поводу отмежевывавшегося Малевича Ларионов заявил, что «никогда не был с ним соединен общностью художественных взглядов» и удивился, что Малевич причисляет себя к футуристам. Настоящими же футуристами, к которым вождь лучистов отнес себя, Н.Гончарову, М.Ле-Дантю, К.Зданевича, Лотова (вероятно, псевд. К.Большакова), И.Зданевича, учение Маринетти давно изжито и отброшено³². Шершеневич пытался было оставить последнее слово за собой, утверждая, будто и другие русские футуристы И.Северянин, Р.Ивнев, Д.Бурлюк, В.Маяковский, В.Каменский солидарны с ним, а не с Ларионовым, но только не могут заявить об этом, поскольку отсутствуют в Москве³³. Однако Ларионов категорически заявил: «Г-н Маринетти, проповедующий старую дребедень — банален и пошл; годен только для средней аудитории и ограниченных последователей»³⁴. По сути лидеры русского футуризма, не признавая ни критиков, ни учителей, отстаивали самостоятельность и самобытность русского искусства.

Узнав о готовящейся ему обструкции со стороны некоторых групп русских футуристов, Маринетти, как опытный политик, заявил, что цель его приезда скромная: «Ближе ознакомиться с русским футуризмом и завязать с ним прочную связь»³⁵. Забегая немного вперед, можно сказать, что и эта скромная цель была выполнена лишь наполовину. Никаких организационных связей между итальянским и русским футуризмом не возникло.

Первая лекция Маринетти состоялась в зале Политехнического музея (27 января 1914). Задолго до начала лекции аудитория была

30 Новь, 1914, N 11, 26 января, с.8.

31 Новь, 1914, N 12, 28 января, с.5.

32 Новь, 1914, N 13, 29 января, с.8.

33 Новь, 1914, N 14, 30 января, с.9.

34 Новь, 1914, N 15, 31 января, с.3.

35 Рувль, 1914, N 447, 27 января, с.3.

переполнена публикой «первых представлений»: литераторы, художники, адвокаты, представители иностранных колоний — французской и итальянской. Московские футуристы демонстративно отсутствовали.

Маринетти начал с обширного вступления о футуризме вообще.

Футуризм, это — любовь к будущему, это стремление к освобождению человечества от тяготеющей над ним власти мертвого прошлого.

Он возник в Италии, причем создателем его явился не один Маринетти, но целая группа поэтов, музыкантов и художников (...). Причина появления футуризма именно в Италии вполне понятна. Ни в одной стране нет такого гнета прошлого.

— Весь мир смотрит на Италию, как на огромный музей, — говорит Маринетти, — никто не хочет видеть ее живой, кипучей жизни (...).

Далее Маринетти уговаривает русских футуристов, про которых он, впрочем, знает очень мало, не разбиваться на фракции, а действовать сплоченным строем.

А затем он перешел к изложению принципов футуристической эстетики (...).

— Быстрый темп и усложненность современной жизни заставляют нас стремиться от старых принципов в искусстве.

В пластике мы должны отвергнуть прежнюю застылость и стремиться передать движение. В музыке искать гармонию шумов. В поэзии освободить слово от уз устарелого синтаксиса.

В заключение Маринетти прочел свое, написанное освобожденным словом, произведение, изображающее разрушение турками моста через Марицу под огнем болгар.

Надо признаться, в устах Маринетти это произведение произвело огромное впечатление.³⁶

Маринетти закончил лекцию дифирамбом молодежи:

— Я горячо люблю молодежь, ибо она права даже в своих ошибках, тогда как старики ошибаются даже тогда, когда правы.

Боялись скандала, а вышел сплошной триумф, особенно у женщин, заметил один из критиков³⁷. Слушатели симпатизировали оратору. Афоризмы Маринетти вызывали аплодисменты и смех. Не было ничего похожего на экстравагантные выступления русских футуристов, тем более, что Маринетти обошел все подводные камни футуризма, не упоминал о войне, как единственной гигиене мира, не

36 Русское слово, 1914, N 22, 23 января, с.7.

37 Я.Тугенхольд. Маринетти и «умственная гигиена». // Новь, 1914, N 13, 29 января, с.3.

говорил о толстовской «трусости», зато проповедовал «умственную гигиену».

Умственная гигиена — развитие физической силы, спорт, бойкот музеев и библиотек. «Всякий юноша, который проводит день в библиотеке, потерян», — восклицал Маринетти и в качестве идеального примера указывает на своего друга, который никогда не слышал ни о Петрарке, ни о Данте³⁸.

На второй лекции Маринетти (28 января 1914) наблюдалась та же самая картина: полный зал, обильные аплодисменты публики и отсутствие русских футуристов. Первую половину вечера Маринетти посвятил чтению собственных стихов, разъясняя их небольшими вступлениями.

— Нас обвиняют, — говорит глава западно-европейского футуризма, — что в нашей поэзии мы выражаем только грубые, сильные понятия, и что лирику освобожденным словом выразить нельзя. У футуристов нет рифмы. Проза — это подробный анализ человеческой мысли, а наша поэзия выражает синтез понятий в скрытой форме, в образных кратких словах без сентиментальных прикрас. Наш лиризм — это стремительность слова, сила выражения, в которых мы умеем дать нюансы полутонов, полуощущений³⁹.

Во второй части он говорил о футуристическом «презрении к женщине» и своей мечте о «механическом сыне». При этом два известных художника демонстративно стуча ногами, стали выходить из зала. «Маринетти оборвал фразу, улыбнулся, и когда под шиканье публики, заступившейся за «своего Маринетти», протестанты подходили к дверям, бросил им вслед: «Мне очень лестно, что эти прусские гренадеры удалились». Раскатистый смех, трескотня аплодисментов, и победитель Маринетти непринужденно переходит к основам тезиса «долгой женщин»⁴⁰. Упомянув также о русских футуристах, Маринетти «выразил удивление по поводу их недовольства и заявил, что приехал к ним для общения, а не затем, чтобы давать им урок»⁴¹. Призывал «забыть раздражающие их среду ссоры и верно служить религии будущего — футуризму»⁴².

38 См.: Русские ведомости, 1914, N 22, 28 января, с.6; Московские ведомости, 1914, N 22, 28 января, с.3; Голос Москвы, 1914, N 22, 28 января, с.5; Утро России, 1914, N 22, 28 января, с.6 и др.

39 Голос Москвы, 1914, N 23, 29 января, с.5

40 Русские ведомости, 1914, N 23, 29 января, с. 5.

41 Новь, 1914, N 13, 29 января, с.8.

42 Русское слово, 1914, N 23, 29 января, с.5.

Публика шумно выражала восторг, но под конец лекции кто-то крикнул:

— *C'est banal, mon vieux*, — это все банально, старикан! — раздается в стихшем зале громкий уверенный голос. Маринетти на минуту смущен, — быстрыми движениями руки он заканчивает свою лекцию⁴³.

После лекции публика окружила Маринетти. Ему пожимали руки, расспрашивали, спорили⁴⁴.

На третьей лекции (30 января 1914) он затосковал. Читал стихи, говорил о футуристической живописи, повторял, что хотел бы сердечного соглашения с представителями русского футуризма и очень сожалел об их отсутствии. Объявил, что по возвращении из Петербурга намерен устроить диспут о футуризме и приглашает принять в нем участие всех желающих из кружка футуристов, особенно просит явиться тех, которые принадлежат к враждебной ему партии, с целью выяснения тех пунктов, в которых они расходятся с футуризмом итальянским, и выработки общей программы. Закончил приглашением на свою лекцию в Петербурге. Писали, что это было сказано без свойственной ему энергии — с грустью⁴⁵.

По окончании лекции Маринетти с несколькими друзьями приехал в Литературно-художественный кружок. Случайно тут же оказался Ларионов. Состоялось знакомство. Разговор через переводчика повелся сначала в крайне повышенном тоне, но затем беседа перешла в корректный обмен мыслями⁴⁶. Однако взаимопонимание, по-видимому, не было достигнуто, поскольку на следующий день в печати появилось письмо Ларионова, где он, в частности, заявил, что Маринетти проповедует «старую дребедень»⁴⁷. Маринетти в свою очередь жаловался журналистам на враждебное отношение к нему московских футуристов.

— Я очень тронут теплым приемом московской публики, но почему меня приветствуют исключительно люди, далекие от моих воззрений? Почему русские футуристы не хотят со мной

43 Новь, 1914, N 14, 30 января, с.2-3.

44 См.: Утро России, 1914, N 23, 29 января, с.5; Раннее утро, 1914, N 23, 29 января, с.5.

45 Новь, 1914, N 15, 31 января, с.3; Раннее утро, 1914, N 25, 31 января, с.5; Русское слово, 1914, N 25, 31 января, с.6; Голос Москвы, 1914, N 25, 31 января, с.4; Утро России, 1914, N 25, 31 января, с.5.

46 Маринетти — Ларионов. // Голос Москвы, 1914, N 26, 1 февраля, с.5.

47 Новь, 1914, N 15, 31 января, с.3.

разговаривать? Враги мне аплодируют, а друзья почему-то демонстративно не ходят на мои лекции.

Вообще же Россия очаровала Маринетти.

— Это страна футуризма, — с восторгом говорит он. — Здесь нет ужасного гнета прошлого, под которым задыхаются страны Европы. Россия молода, полна сил, и я твердо верю, что она внесет очень многое в культуру будущего⁴⁸.

Накануне прибытия Маринетти в Петербург, где он должен был в концертном зале Калашниковской биржи прочесть две лекции (1 и 4 февраля 1914), Н.Кульбин созвал у себя на квартире нечто вроде совещания футуристов с целью не допустить повторения московской обструкции и добиться единодушного отношения к гостю. Против этой затеи выступили Хлебников и Лившиц. Они заявили, что Маринетти смотрит на путешествие в Россию, как на посещение филиала своей организации. Кроме того, в манифестах Маринетти они не нашли для себя ничего нового. Однако остальные⁴⁹ (в т.ч. Н.Бурлюк, М.Матюшин, А.Лурье) согласились с Кульбиным.

Утром 1 февраля 1914 г. Маринетти приехал в Петербург. Писали, что «к приходу поезда на перроне Николаевского вокзала собралось много петербургских футуристов, хотя главных руководителей футуризма не было»⁵⁰. Оставшиеся в меньшинстве Хлебников и Лившиц решили действовать. В типографии отпечатали листовку:

Сегодня иные туземцы и итальянский поселок на Неве из личных соображений припадают к ногам Маринетти, предавая первый шаг русского искусства по пути свободы и чести, и склоняют благородную выю Азии под ярмо Европы.

Люди, не желающие хомута на шее, будут (...) спокойными созерцателями темного подвига.

Люди воли остались в стороне. Они помнят закон гостеприимства, но лук их натянут, а чело гневается.

Чужеземец, помни страну, куда ты пришел!

Кружева холопов на баранах гостеприимства.

В последний момент, когда в лекционном зале на кафедре уже появился Маринетти, в дверь вбежал Хлебников, прижимая к груди кипу этих воззваний. Отдав половину Лившицу, он стал их быстро раздавать.

48 Русское слово, 1914, N 26, 1 февраля, с.6; см. также: Руль, 1914, N 448, 3 февраля, с.3.

49 Б.Лившиц. Полутораглазый стрелец. Л., 1989, с. 473-373.

50 Биржевые ведомости, 1914, утр. вып., N 13984, 2 февраля; веч. вып., N 18983, 1 февраля.

Кульбин, все время ожидавший подвоха, бросился, выхватил пачки листовок и яростно разорвал на части⁵¹, при этом назвав Хлебникова «подлецом и негодяем»⁵². Присутствовавший на лекции М.Матюшин вспоминал позднее: Хлебников «так разгорячился, что чуть не побил Кульбина»⁵³, вызвал его на дуэль (от которой Кульбин уклонился) и тотчас ушел. Лекция началась.

В первых рядах сидели гвардейские офицеры и публика премьер Михайловского театра, и можно было увидеть очень шикарные туалеты (...). Футуристическая молодежь была представлена полностью. Чудовищные цветы в петлицах, крикливые галстуки и независимый вид, все презирающих — выдавали их с головою.

Глава западного футуризма совсем не похож на наших доморощенных футуристов, он не носит полосатых кофт, прическа его в порядке, лицо не разрисовано, словом, он производит впечатление вполне нормального человека.

Если бы Маринетти не отмежевался сам от русских футуристов, ни у кого не осталось бы сомнения в том, что между этими двумя явлениями весьма мало общего.

Но лектор счел необходимым подчеркнуть это, а также свое объяснение этого различия: проистекает оно, по его мнению, из расовых особенностей итальянской и славянской национальностей. Итальянцы держатся близко, слишком близко к земле, тесно скованные с жизнью и ни за что не отвернутся от нее, тогда как русские, — утверждает Маринетти, — витают в небесах, не любят «земли», отрицают жизнь.⁵⁴

Затем он кратко рассказал о происхождении итальянского футуризма, как протеста против «пассеизма». Говорил, что новая культура и новые условия жизни создают новую психику и новое искусство: развивается «любовь к скорости», машинизм, умерщвляется старый лиризм. Динамизм, а не сентиментальность, — особенность нового лиризма. Рассказывал об искусстве шумов. Противопоставил индивидуализму и пренебрежению к толпе у русских футуристов свой «демократизм», свою веру в толпу улицы, в

51 Б.Лившиц. Полутораглазый стрелец. Л., 1933, с.215.

52 Адресатом письма Хлебникова (см. Велимир Хлебников. Неизданные произведения. М., 1940, с. 368-369) назван Николай Бурлюк. Однако, судя по содержанию письма, его адресатом является Маринетти. Автор благодарен А.Парнису, указавшему на эту деталь.

53 М.Матюшин. Русские кубо-футуристы. // В кн.: К истории русского авангарда. Стокгольм, 1976, с. 154.

54 Петербургский курьер, 1914, N 20, 2 февраля, с. 2; Новое время, 1914, N 13612, 2(15) февраля, с. 6; День, 1914, N 32, 2 февраля, с. 4.

массы, к которым он идет, сознательно минуя интеллигентную публику. Во второй части лекции Маринетти декламировал звукоподражательные стихи. «С поразительной экспрессией звуками передал свою «поэму о шуме реки Маас и о шуме при взятии Андрианополя болгарами и сербами»»⁵⁵. Для большей наглядности дадим слово одному из очевидцев этого выступления Б.Лившицу: «Точно демонстрируя на собственном примере возможности новой динамики, Маринетти двоился, выбрасывая в стороны руки, ноги, ударяя кулаком по пюпитру, мотая головой, сверкая белками, скаля зубы, глотая воду стакан за стаканом, не останавливаясь ни на секунду, чтобы перевести дыхание. Пот градом катился по его оливковому лицу, воинственные усы а la Вильгельм уже не торчали кверху, воротник размяк, утратив всякую форму, а он продолжал засыпать аудиторию пулеметным огнем трескучих фраз, в которых плавный романский период на каждом шагу кромсался взрывами звукоподражаний»⁵⁶. Подобный темперамент не мог не поражать. Лекция закончилась овациями.

В Петербурге Маринетти удалось встретиться и поговорить с русскими футуристами на вечерах в «Бродячей собаке» и званом ужине у Кульбина. Чем глубже он знакомился с русским футуризмом,⁵⁷ тем больше убеждался, что тот «имеет мало общего с западным».

На вторую и последнюю лекцию Маринетти в Петербурге собралось значительно меньше публики. Но снова присутствовали петербургские футуристы. Маринетти говорил о футуристической живописи и скульптуре. В то же время он «с чувством глубокого уважения напомнил аудитории, что в вопросе о футуристической музыке пальму первенства приходится признать за Россией. Еще в 1910 г. Н.И.Кульбин первый провозгласил принцип свободной «музыки шумов»,⁵⁸ и теперь итальянцы являются только его продолжателями». Под конец лекции Маринетти читал поэму «Train des soldats malades», где, по его словам, можно было прочувствовать в звуках не только грохот паровоза, стоны раненых, отзвуки сраженья, но даже борьбу и победу дизентерийных микробов, от которых умирали солдаты. Поэма привела публику в дикий восторг. В конечной же и в скорой победе футуризма Маринетти был совершенно убежден. Из России он увозит уверенность в том, что в ней есть футуристы и есть почва для

55 Петербургская газета, 1914, N 32, 2 февраля, с. 5; см. также: Петербургский листок, 1914, N 32, 2 февраля, с. 6; Речь, 1914, N 32, 2(15) февраля, с. 6; Биржевые ведомости, 1914, утр. вып., N 13984, 2 февраля, с. 3; Колокол, 1914, N 2331, 4 февраля, с. 4.

56 Б.Лившиц. Полутораглазый стрелец. М., 1991, с. 168.

57 Беппо. Маринетти о театре. // День, 1914, N 33, 3 февраля, с. 3.

58 Новое время, 1914, N 13615, 5(18) февраля, с. 6.

футуризма. Только не понравилось, зачем ему аплодируют. Аплодисменты усыпляют энергию. Самый счастливый день его жизни был и будет тот, когда его в Милане освистала толпа в 1000 человек. Чтобы доставить гостю удовольствие, писали газеты, слушатели, расходясь с лекции, дружелюбно слегка пошিকাли ему. Навряд ли Маринетти стало от этого легче⁵⁹.

Между тем, прервав свою гастрольную поездку по городам России, в Москву вернулись В.Маяковский, Д.Бурлюк и В.Каменский. В газете «Новь» появилось письмо.

Во время наших гастролей по провинции, мы издали были свидетелями трагикомического «завоевания» Москвы г-ном Маринетти (...).

Мы здесь же считаем теперь нашим долгом заявить, что еще 2 года назад во II садке судей, нами было указано, что мы с итальянским футуризмом ничего общего, кроме клички не имеем, ибо в живописи Италия является страной, где плачевность положения — вне меры и сравнения с высоким напряженным пульсом русской художественной жизни последнего пятилетия. А в поэзии: наши пути, пути молодой русской литературы продиктованы исторически обособленным строем русского языка, развивающегося вне какой-либо зависимости от гальских русл. О подражательности нашей итальянцам (или же наоборот) не может быть и речи, ибо наши вещи написаны ранее — (в 1907 году, садок судей I-й).

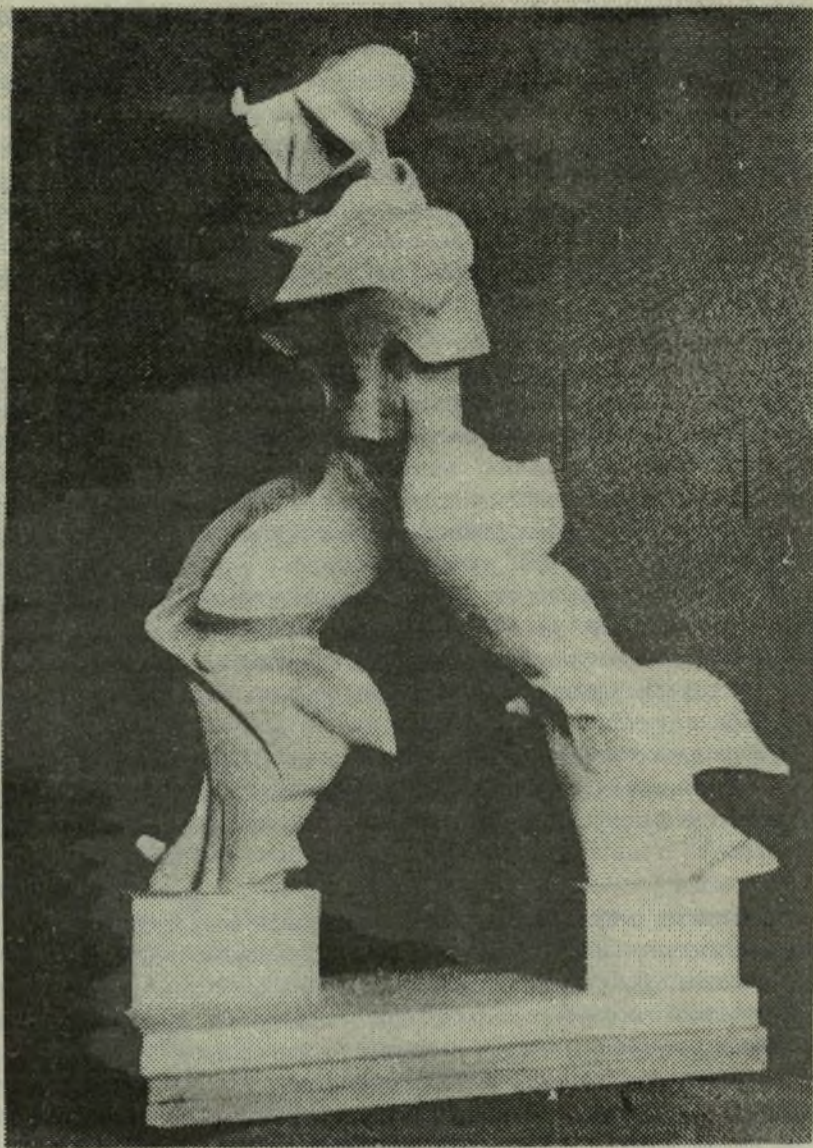
Относительно «темперамента» симпатия и антипатий к нашему гостю (Маринетти), то, конечно, полная свобода каждому по его склонностям («перронный букет» или же «тухлые яйца»), это, ведь, не важно.⁶⁰

Несмотря на стоявшие под письмом подписи всех бюджетян, вскоре выяснилось, что оно написано и опубликовано Д.Бурлюком и В.Каменским. Б.Лившиц, А.Крученых, М.Матюшин и Н.Бурлюк сочли письмо оскорбительным для Маринетти и заявили, что фамилии проставлены без их ведома и согласия⁶¹. Маяковский, временно объединившийся с В.Щершеневичем и К.Большаковым в группу поэтов-урбанистов, заявил со своими новыми соратниками:

⁵⁹ Речь, 1914, N 35, 5(18) февраля, с. 4; Биржевые ведомости, 1914, утр. вып., N 13988, 5 февраля, с. 3; Колокол, 1914, N 2333, 6 февраля, с. 4.

⁶⁰ Новь, 1914, N 19, 5 февраля, с. 6.

⁶¹ День, 1914, N 43, 13 февраля, с. 5.



У. Боччони. Футуристическая скульптура. 1913.

Отрицая всякую преемственность от итало-футуристов, укажем на литературный параллелизм: футуризм общественное течение, рожденное большим городом, который сам уничтожает всякие национальные различия. Поэзия будущего — космополитична.
Вот и вся сказка об учителе и учениках ⁶².



Сант-Элиа, Боччони и Маринетти. 1915.

Снова приехавший в Москву Маринетти на сей раз встретился с московскими футуристами. С Ларионовым, Гончаровой и И.Зданевичем у него завязались даже дружеские отношения, давшие повод журналистам писать об их «переходе на сторону Маринетти». Однако, поскольку в «Да-манифесте» всё-таки одним из пунктов программы значилось «противоречить самим себе», вывод журналистов был несколько поспешным. Тем более, что никаких организационных продолжений этот альянс не имел.

62 Новь, 1914, N 28, 15 февраля, с. 9.

Публичная дискуссия Маринетти с представителями русского футуризма произошла в обществе «Свободной эстетики» (13 февраля 1914), устроившем доклад Маринетти «О самых крайних исканиях футуризма в поэзии и живописи». Доклад Маринетти, повторявший идеи уже много раз изложенные им в манифестах и лекциях, не вызвал особого интереса ни в публике, ни у критиков. Весь интерес вечера переместился на прения. Официальный оппонент Я.Тугенхольд, который должен был сделать доклад «О футуризме Маринетти», не явился. Прения же было решено вести на французском языке, под тем предлогом, чтобы Маринетти понимал.

Первый оратор, г-н Виленкин, подверг подробной критике принципы футуризма, утверждая, что на самом деле это «последнее слово культуры» предвосхищено уже ... египетскими иероглифами.

Во время речи г-на Виленкина итальянский темперамент Маринетти сказался очень ярко.

Сначала он пожимал плечами, делал недоумевающее лицо, разводил руками, наконец, начал перебивать оратора, произносить в паузах речи г-на Виленкина страстные тирады и т.п. — вообще по всем пунктам нарушал священный кодекс «парламентаризма».

После речи г-на Виленкина неожиданно выступили московские футуристы, г-да Маяковский, Бурлюк и Зданевич, потребовав попутно разрешения говорить по-русски.

Председатель г-н Гиршман заявляет, что этого он не может допустить.

— Отчего же? — протестует г-н Бурлюк. — Здесь все понимают оба языка.

— Нет, не все, — отвечает голос из публики. — Маринетти не понимает по-русски, а вы, Бурлюк, по-французски.

Пользуясь минутным замешательством, у стола появляется Зданевич и читает манифест на французском языке.

Манифест сообщает, что группа московских футуристов расписывается в солидарности с Маринетти и считает его своим прекрасным вождем. Маринетти дружески пожимает руку Зданевичу (...).

Но Зданевич говорил не за всех, а только за часть московских будущников, за спиной Маринетти стоят его здешние противники — непримиримые враги: Бурлюк с лорнетом и Маяковский в багровом одеянии. Они хотят говорить, но заправила «Свободной эстетики» не дает им слова по-русски, предлагая возражать по-французски.

63 «Инциденты» в кружке. // Русское слово, 1914, N 37, 14 (27) февраля, с. 5; Московская газета, 1914, N 300, 17 февраля, с. 2-3.

Маринетти благодарил русских футуристов, подчеркнув свою полную солидарность с Гончаровой, Ларионовым и Зданевичем. Других футуристов он не принял, ибо они пессимистичны, третьих — ибо они романтичны, четвертых — ибо они археологичны, и вообще не футуристы, а «соважисты» — первобытники. После его речи футуристы опять начали добиваться «равноправия языков». Им отказали. Тогда Маяковский громогласно заявил:

— Требование вести диспут на французском языке — это публичное надевание намордника на русских футуристов! В «Обществе свободной эстетики» можно получать свободно только кушанья по карточке.

В ответ председатель закрыл собрание. Футуристы, несмотря на протесты представителей «Общества свободной эстетики», приступили было к выборам своего председателя, чтобы продолжать дебаты, но в этот момент кто-то объявил, что в главном зале кружка поносят футуристов, и все бросились туда.

В главном зале доклад о «Новейших течениях в современной живописи (опыт психологического анализа)» делал С.Глаголь. Проводя параллель между психикой и живописью у детей, умалишенных и представителей новейших течений, он назвал кубистов, футуристов, лучистов и всёков психопатами. Начались прения.

Первым выступил юноша в черном (В.Шершеневич):

— Мы, — сказал он, — люди нашего поколения и, как таковые, иного мировосприятия, чем имеем, иметь не можем. Мы просто не способны ни мыслить иначе, ни иначе чувствовать, так не способны чувствовать и мыслить по-нашему люди, перешедшие за тридцатилетний возраст!

И в заключение:

— Долой современную литературу, спокойную, как похоронное бюро, и бездарностей, вроде Львов Толстых.

Можно себе представить, как отнеслась к этому публика. Председателю стоило невероятных усилий, чтобы привести публику в спокойствие.

Во время речи очередного оратора вошли в зал и попросили слова г-да Бурлюк и Маяковский.

Первый начал с заявления, что он привык говорить при большем числе слушателей. Малочисленность их объясняется тем, что в лекциях даются рваные калоши, называемые историей искусства.

Русской душе предлагалось все время вместо искусства грязная лохань, где плавали старые огрызки: Серов, Репин, Левитан, Пушкин...

В зале поднялся невообразимый шум.

Председатель попросил публику держать себя спокойно, а футуристов — говорить в том тоне, как обычно ведутся литературные беседы.

Бурлюка сменил на кафедре Вл. Маяковский. Раздались редкие одиночные свистки.

— Свистеть еще успеете, — заметил спокойно оратор.

— Я рад бы, — говорит он, — протянуть руку такому человеку, как Маринетти, потому что в Италии он был оплеван и освистан за искусство, так же как мы в России. Но у нас принято преклоняться перед иностранными мастерами и травить свое талантливое и даровитое.

— Вы еще не раз услышите треск футуристических пощечин! — закончил свою речь Маяковский.

Но в это время в зал ворвался Ларионов и крикнул:

— Дурак в красном говорит, а дураки в черном слушают! Чего вы его, дурака, слушаете! Гоните его вон!

Что-то еще долго кричал Ларионов, но за невообразимым шумом нельзя было разобрать благоуханных слов, какими он осыпал своего собрата-футуриста (...). Скандал возник неслыханный. Ларионова стали изгонять. Кто-то из директоров послал за околоточным, что-то кричали, кому-то угрожали. Ларионов, между тем, забаррикадировался в директорской комнате и с большим трудом был пойман и извлечен оттуда. Ему запретили на будущее время вход в кружок.

Но вновь стало сравнительно тихо, и явилась возможность выступить официальному оппоненту (д-ру А.Н. Бернштейну). В тот же момент футуро-скандалисты in согре покинули зал.

В кулуарах — необычайное оживление. На все лады комментируются события. Маринетти, окруженный исключительно дамами, что-то очень убедительно им доказывает ⁶⁴.

17 февраля 1914 г. Маринетти уехал в Милан. Писали, что проводить апостола футуризма явились почти все представители искусства будущего ⁶⁵. Вскоре он выступил в Риме с докладом, назвав русских футуристов «лже-футуристами, искажающими истинный смысл великой религии обновления мира при помощи футуризма», говорил, что они не имеют понятия об истинном

64 Голос Москвы, 1914, N 37, 14 февраля, с. 5; Раннее утро, 1914, N 37, 14 февраля, с. 6; см. также: Футуристическая битва в «эстетике». // Русские ведомости, 1914, N 37, 14 февраля, с. 5; Очередной скандал. // Русские ведомости, 1914, N 37, 14 февраля, с. 5; Маринетти в «эстетике». // Утро России, 1914, N 37, 14 февраля, с. 5; и др.

65 Русское слово, 1914, N 40, 18 февраля, с. 6; Новь, 1914, N 30, 18 февраля, с. 5.

итальянском футуризме⁶⁶. В такой приятной для себя форме он признал полную самостоятельность русского авангарда.

Однако, цель поездки Маринетти в Россию осталась выполненной не до конца. В ноябре 1914 года он предполагал вторично посетить Москву со своими единомышленниками Руссоло, Боччони и др. Предполагалось также устройство выставки футуристической живописи и нескольких концертов «музыки шумов»⁶⁷. Но начавшаяся война помешала этим планам.

Пребывание Маринетти в России активизировало интерес публики и прессы к футуризму русскому. Далеско не все критики были в восторге от проповеди Маринетти⁶⁸, а сопоставление с русским футуризмом далеко не всегда делалось в пользу Запада. Один из критиков (Я.Тугенхольд) считал, что «наши собственные Невтоны уже превзошли Маринетти по части «левизны» (...). Россия футуристичнее самого Маринетти!»⁶⁹. Впрочем, о том же самом говорили и некоторые футуристы (Ларионов, Хлебников).

Никакого существенного влияния на русский футуризм визит Маринетти, по-видимому, не оказал. Роль учителя и наставника русские футуристы сыграть ему не дали. Прочных связей между русским и итальянским футуризмом завязано не было. Успех поездки можно было бы видеть в том интересе, который проявил к лекциям образованный слой общества. Однако, очевидно, что рукоплескавшая Маринетти публика, всерьез к его идеям не относилась. Для них он оставался оригинальным гастролером со скандальной славой ниспровергателя. Единственное, что удалось Маринетти — ознакомиться с русским футуризмом, поговорить и поспорить с некоторыми его представителями. Итог визита достаточно верно обозначается фразой: свой среди чужих, чужой среди своих. Тем не менее остается ощущение какого-то незамеченного события и притом весьма существенного. Что же все-таки произошло? Прежде всего, соприкоснулись две силы, продемонстрировали свою мощь, поиграли бицепсами и разошлись. Судя по всему, у Маринетти не могло не возникнуть стойкое ощущение, что место занято. Произошел как бы негласный раздел сфер влияния. Никакой экспансии итальянского футуризма на восток не последовало. Конечно, этому можно найти и другие объяснения, связанные, например, с неблагоприятной международной обстановкой. Однако более важным кажется то, что в

66 Русское слово, 1914, N 84, 12(25) апреля; Современный мир, 1914, N 3, с. 173.

67 Русское слово, 1914, N 39, 16 февраля, с. 5.

68 См.: А.Чеботаревская. На лекции Маринетти. // День, 1914, N 29, 30 января, с.4; Голос жизни, 1915, N 18.

69 Я.Тугенхольд. Запоздалый визит. // Речь, 1914, N 31, 1(14) февраля, с. 3-4; Современное слово, 1914, N 2178, 1 февраля, с.2.

русском искусстве не было вакуума силы, и энергия перехлестывала через край. Русские футуристы сами были готовы к экспансии в новые области искусства и пространства.

Вернемся, однако, к Маринетти.

После начала первой мировой войны в августе 1914 г. Маринетти и Руссоло записались добровольцами в Ломбардийский батальон циклистов и повели пропаганду за вступление Италии в войну, придав для этих целей футуристическому журналу «Лачерба» политическую направленность. Маринетти обратился к итальянским студентам с призывом воевать против немецких профессоров и культуры. «Дирекция футуристического движения» в Милане постепенно превратилась в боевой штаб. В сентябре ею были организованы манифестации с публичным сожжением австрийского флага. За эти акции Маринетти был арестован и посажен в тюрьму⁷⁰. Однако 24 мая 1915 года Италия вступила в войну на стороне России и других стран Антанты. Маринетти вместе с другими футуристами Л.Руссоло, У.Боччони, А.Сант-Элиа, Пиятти, М.Чирони ушли добровольцами на фронт. С 1915 г. вплоть до перемирия (4 ноября 1918 г.) футуристы воевали и несли потери. Боччони погиб на военных учениях, Сант-Элиа погиб в бою, Руссоло был тяжело ранен, Маринетти — ранен и награжден медалью как командир броневика за битвы Витторио-Венета.

В то же время в самом итальянском футуризме произошла перегруппировка сил. От движения откололись такие соратники Маринетти как Палаццески, Соффичи, Папини и Карра. Другая часть футуристов (Б.Корра, А.Джинна, М.Карли, Р.Кити, В.Наннетти) объединились в журнале «Кентавр». Были выпущены манифесты «Футуристический синтетический театр» (Корра и Сеттимелли), «Восстановление мирового футуризма» (Балла и Деперо), «Футуристическая сценография и хореография» (Э.Прамполини). Позже вышли манифесты «Футуристическая кинематография» (1916), «Манифест футуристического танца» (1917), «Футуристическая наука» (1917). Маринетти обратился к театру, став одним из самых плодотворных драматургов-футуристов. Он создавал т.н. «синтезы» — короткие сцены, подчас лишённые текста. Выходили книги, организовывались новые футуристические журналы, снимались футуристические фильмы, устраивались вечера, выставки и театральные представления. Жизнь, наряду с искусством, настолько прочно и органично вошла в итальянский футуризм, что назревала необходимость организационного оформления

⁷⁰ Справедливости ради необходимо отметить, что некоторые итальянские футуристы (Л.Алтомар, Д.Ремондино) выступили против войны и впоследствии, в отличие от большинства итальянских футуристов, солидаризировались с коммунистами.

футуристической активности вне рамок искусства. Так была провозглашена политическая партия футуристов, идейным вождем которой был, конечно, Маринетти.

Взаимоотношения футуристической партии и футуризма, как движения в искусстве, определялись в «Манифесте политической партии футуристов» следующим образом: «Футуристическая политическая партия, которую мы сейчас основываем и организационно оформим после войны, будет совершенно обособленной от футуристического движения. Это последнее будет продолжать свое дело омоложения и укрепления итальянского творческого гения. Художественное футуристическое движение неизбежно оказывается впереди медленной восприимчивости народа. Поэтому оно остается авангардом, зачастую сталкивающимся с противодействием большинства, которое не может понять его изумительных открытий, резкости его полемических выражений и безрассудно смелых порывов его прозрений. Футуристическая политическая партия, напротив, понимает насущные потребности и точно отражает самосознание всего общества в его гигиеническом революционном порыве. К футуристической политической партии смогут примкнуть все итальянцы, мужчины и женщины любых классов и любого возраста, также и те, кто не имеет склонности к каким бы то ни было художественным и литературным концепциям». Органом политической партии футуристов стала газета «Футуристический Рим», основанная Маринетти, Сеттимелли и Карли. Однако вместо организационного оформления итальянской футуристической партии, футуристы влились в рамки другой новообразованной политической организации.

Характеризуя вкратце политическую ситуацию в Италии тех лет, нельзя не отметить серьезное влияние на нее событий в России. В период 1918-1920 гг. под влиянием русской революции социалистическое движение в Италии было настолько сильно, что многие ожидали повторения октябрьской революции. В ноябре 1919 г. успехи итальянских социалистов достигли апогея. Даже представители власти ожидали падения строя. Но дело ограничилось только забастовками, многочисленными митингами, демонстрациями и пением революционных гимнов. При этом интересно отметить, что социалистические убеждения русских футуристов (среди них были сторонники эсеров, анархистов и большевиков), соответствовавшие российской идеологической доминанте, резко разошлись с антисоциалистической идеологией итальянского футуризма. В то же время итальянский футуризм воспринял ту идеологическую доминанту, которой суждено было стать господствующей на долгие годы. Не только в искусстве, но и в политической области русские и

итальянские футуристы разными дорогами шли в одном направлении — на сей раз к тоталитаризму.

В сентябре 1918 г. перед офицерами ударных батальонов Маринетти произнес речь:

— Я не стратег и не тактик. Я говорю вам как страстный воспламенитель молодежи. Я — футурист, т.е. патриот-революционер. Но прошу понять: с Лениным, Серрати⁷¹, Ладзари⁷² и т.п. ничего общего не имеющий. Наша футуристическая революционность обожает Италию и жаждет возродить ее во что бы то ни стало, очистить ее, сделать более интеллигентной и преуспевающей. Такой патриотизм не имеет ничего общего с пангерманским патриотизмом. Этот последний — кретин, ибо народ столь низкий, как немецкий, лишенный талантов и гениальной эластичности, не имеет никакого права претендовать на гегемонию.

Свой яркий шовинизм Маринетти обосновывал экономически: проникновением всюду немецкой продукции. Общность идеологии свела его с Муссолини, при этом вождь итальянских футуристов вступил в фашистскую партию. Первые же фашистские группы, созданные Муссолини в Милане весной 1919 г., состояли в значительной степени из футуристов, д'аннунцианцев и ардити (офицеров особых боевых отрядов). Маринетти лично играл большую роль в создании этих групп. Вместе с фашистами он участвовал в разгоне демонстраций, «желая утвердить абсолютное право четырех миллионов солдат на управление новой Италией». На заседании парламента (11 июля 1919) он явочным порядком взял слово:

— От имени ударных групп фашизма, от имени футуристов и интеллигенции я протестую против⁷³ вашей политики и кричу: долой Нитти! Смерть джиолиттизму! Я заявляю, что министерство саботажников победы не может существовать! Позор вам! Итальянская молодежь моими устами кричит вам: подлецы!

Чем дальше развивались события, тем больше Маринетти и его соратники участвовали в подготовке фашистского режима. На какое-то время история итальянского футуризма растворилась в истории фашизма. Так, 12 сентября 1919 г. добровольцами во главе с Габриэлем Д'Аннунцио был взят город Фиуме. Среди добровольцев были футуристы М.Карли, М.Соменци, М.Черати и др. В занятом городе устроили футуристический вечер. Еще более знаменателен другой пример. В ноябре 1919 г. в первом выборном бюллетене фашистов имена Муссолини и Маринетти стояли рядом, однако на

71 Джиакинто Серрати — итальянский социалист, редактор газеты «Аванти».

72 Константино Ладзари — вождь левого крыла итальянских социалистов-максималистов.

73 Франческо Нитти — в те годы итальянский премьер-министр. Джованни Джиолитти — видный парламентский деятель либеральной партии. Оба были резкими противниками войны.

выборах фашисты не прошли, а Маринетти с группой единомышленников за организацию вооруженного отряда были арестованы по обвинению в посягательстве на безопасность государства. Характерны названия работ Маринетти этого периода: «Футуристическая демократия» (1919), «По ту сторону коммунизма» (1920) и др. Опубликованы были также «Сексуальное электричество» Маринетти, роман «Женская утроба» Маринетти и Э.Роберта, «Восход солнца» Канджулло, а также четырехтомник футуристических манифестов и другие книги. В Милане, Генуе и Флоренции прошла национальная выставка футуристов и т.п.

В мае 1920 г. после второго конгресса фашистских боевиков, Маринетти, М.Карли и Э.Сеттимелли вышли из фашистской партии, протестуя против компромиссов Муссолини с клерикальными и монархическими кругами. Однако этот эпизод оказался лишь мимолетной размолвкой. До конца жизни Маринетти оставался беспартийным фашистом.

После фашистской октябрьской революции (26-30 октября 1922) Муссолини стал министром-президентом. Маринетти посвятил ему восторженную статью, в которой писал, что футуристический идеал осуществился в лице нового главы правительства. «Итальянская Империя — в кулаке лучшего, наиспособнейшего итальянца. Он будет управлять без парламента, с техническим советом молодых». «В правительстве страны, — утверждал Маринетти, — должно быть обеспечено равное участие промышленников, землевладельцев, инженеров и коммерсантов. Минимальная граница возраста для депутатов должна быть понижена до 22-х лет. Минимум депутатов из адвокатов (всегда оппортунистов) и минимум депутатов из профессоров (всегда ретроградов)... Если этот рациональный и практический парламент не даст хороших результатов, мы устраним его, чтобы соединиться в техническое правительство без парламента, в правительство, составленное из 20 техников. Заменим сенат собранием контроля, состоящим из 20 молодых людей, не достигших еще 30-летнего возраста. Вместо парламента из некомпетентных ораторов и ученых инвалидов, умеряемого сенатом из умирающих, мы будем иметь правительство синдикатов земледельческих, промышленных и рабочих». Таким представлялось новое правительство вождю футуристов.

В начале 1920-х годов политические акции уже меньше занимали внимание Маринетти, нежели искусство. Итальянский футуризм активизируется. Вскоре после женитьбы на художнице и писательнице Бенедетте Каппа, Маринетти издает манифест «Против женской роскоши» (1920), руководит «Футуристическим театром». Летом 1921 г. в парижском театре «На Елисейских полях» состоялись 3 концерта оркестра футуристических инструментов под

руководством Л.Руссоло. Звуки, производимые инструментами, соответствовали их названиям: урлер, фруфрутер, глуглутер и т.д., они передавали рычание животных, скрежет машин, рев ураганов, шум дождя, смешанного с градом. Во вступительном слове Маринетти объяснил, что старая пассаистическая музыка не может больше производить впечатление на уши, привыкшие к грохоту и шуму городов. Французская публика спокойно прослушала первый отрывок, а затем начала свистеть, топтать ногами, кричать. Маринетти горячо поблагодарил присутствовавших за участие в концерте, заявив, что итальянская публика приучила его к таким встречам, что поведение парижской аудитории ему кажется доброжелательным.

В октябре того же года в Неаполе состоялась премьера футуристической оперы Маринетти «Неожиданность». Зрители, переполнившие театр, устроили такой беспримерный скандал, что первое представление оказалось последним. Дирекция немедленно сняла оперу с репертуара.

Выходили новые манифесты Маринетти: «Тактилизм», «Манифест о театре», «Манифест о музыке». В середине января 1922 г. вождь футуризма стал издавать журнал «Синтетическое обозрение». Маринетти признавал, что футуризм в Италии уже не тот, который он провозглашал в 1909 г. Исчезли разрушительные тенденции, осталась энергичность и стремление к изобретательству новых «измов». В манифесте «Тактилизм» вождь провозгласил: «Вместо того, чтобы разрушать современное состояние человечества, улучшайте его. Соедините движение человечества и общежитие воедино, разружьте перегородки и препятствия, что разделяют любовь и дружбу. Придайте важнейшим выражениям жизни: любви и дружбе — всю их полноту и красоту. (...) Я создал первую воспитательную шкалу осязания, которая одновременно есть шкала тактической ценности для тактилизма или искусства осязания. (...) Тактилизм послужит сближению человеческих существ при посредстве эпидермы». Следует отметить, что тактические идеи высказывались и русскими футуристами. Так, Василиск Гнедов в 1914 г. предлагал ввести вкусовые рифмы (хрен, горчица, молочай), обонятельные рифмы (мышьяк-чеснок), осязательные (сталь, стекло) и т.д. Таким образом, вводились не только осязательность, но и вкус, запах, зрение. Каждое из этих чувств в принципе может быть положено в основу особого искусства (напр., дегустация). Итальянский и русский футуризм одинаково стремились выйти из традиционных рамок искусства в жизнь. Провозглашенный Маринетти «тактилизм» был лишь одним из проявлений более общей тенденции.

В то же время Маринетти взялся за реорганизацию театра. Он мечтал создать новую драму, которая была бы сгущеннее, энергичнее старой. Для этой цели он взял на вооружение симультанистский принцип одновременности нескольких сцен. Три-четыре события, происходившие в разное время и в разных местах, должны происходить одновременно на одних и тех же подмостках, взаимно проникая друг в друга. Для проведения в жизнь своих идей Маринетти открыл в городе Лукке «Сюрприз-театр». По его словам, задачи «Сюрприз-театра» были следующими:

1. Огораживать публику всякими приятными ударами.
2. Вызывать в публике целый ряд забавных идей и чувств, подобно тому, как сильный удар по воде вызывает концентрические круги, пробуждает эхо, которое в свою очередь пробуждает другое эхо.
3. Вызывать в публике слова и жесты, никем не предвиденные, стремиться к тому, чтобы каждый сюрприз на сцене порождал другие сюрпризы в театре и в ложах, во всем городе, завтра, послезавтра, очень долго.

В манифесте было прибавлено, что придав уму зрителей большую эластичность путем такой интеллектуальной, сверхлогической гимнастики «Сюрприз-театр» тем самым надеется спасти итальянское юношество от дьявольских наваждений политики, которая озверяет и омрачает людей.

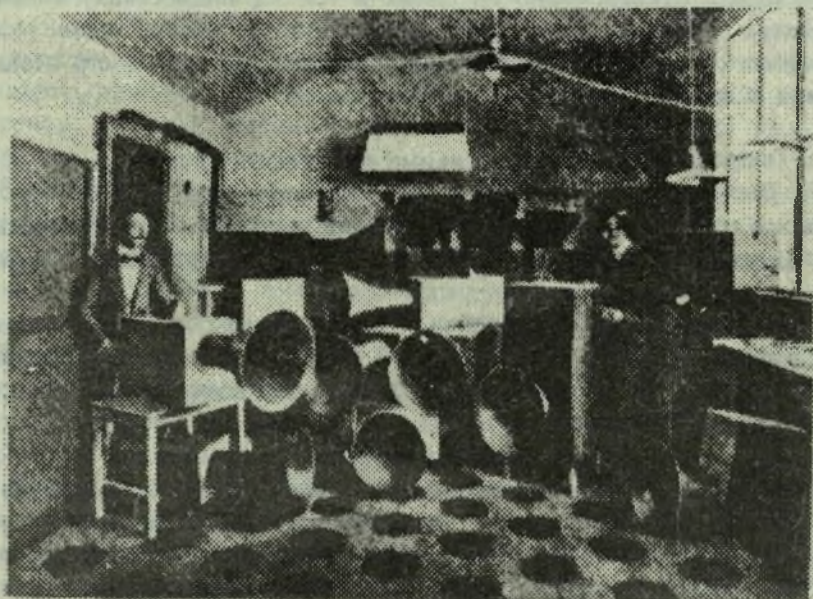
Политический идеал Маринетти осуществился, и он сразу же из разрушителя превратился в охранителя порядка, проводника призывов Муссолини к дисциплине.

Одна из сюрпризо-драм, написанных Маринетти, носившая название «Musique de toilette», заключалась в следующем:

На сцене стоит пианино, на педали которого надеты элегантные золоченые башмачки. Это первый сюрприз. На сцену выходит актриса, одетая горничной, и начинает сметать пыль с пианино легкой метелкой из перьев. Потом она проводит метелкой по клавишам и таким образом исполняет музыкальный мотив. Это второй сюрприз. Другая актриса, одета горничной, приносит зубную щетку и начинает чистить клавиши щеткой как зубы. Это третий сюрприз. Является мальчишка-лакей и чистит башмачки на педалях. Это четвертый сюрприз. Занавес.

В Риме первое представление «Шатра сюрпризов» началось с того, что Маринетти в безукоризненном фраке появился на сцене и обратился к публике с хвалебной речью по адресу самого себя. После

первых же слов в зале поднялся свист и шиканье. На сцену полетели яблоки, помидоры, гнилые яйца. Попытки начать представление были безуспешны. Кончилось тем, что актеры во главе с Маринетти



Инструменты для футуристической музыки шумов.

также стали бросать в публику овощи. На этом представление было объявлено оконченным. Чем не «массовое действие»? Чем не хэппенинг?

В новом «Манифесте о музыке», в отличие от довоенных манифестов, Маринетти писал, что «мы, футуристические музыканты, восхищаемся творениями великих футуристических и прогрессивных музыкантов. Они достигли высочайших вершин блеска и творческой силы». Этим манифестом он не желал разрушать ничего значительного, а лишь стремился обогатить музыку — «это высокое искусство и активнейшее средство общественного возвышения».

Маринетти поставил послевоенный итальянский футуризм на службу политике. Фашистская газета «Impero» прославляла его как

человека, открывшего перед миром гениальность возрождающейся Италии. Однако итальянский футуризм не стал государственным искусством. В качестве официального фашизму, как и коммунизму, требовалось совершенно иное искусство.

В первой половине 1920-х годов вышло несколько книг Маринетти, в их числе посвященная Муссолини «Футуризм и фашизм» (1924), в которой вождь подводил итоги «героической» фазы развития итальянского футуризма. Он освещал свой вклад в победу фашистского режима, публиковал личные письма и автографы знаменитостей, рецензии газет и список акций фашистских групп, в которых его соратники принимали участие. Не ослабевал его интерес к театру. Во второй половине 1920-х годов Маринетти написал несколько пьес: «Узники» (пьеса в шести синтетах. 1925-1928), «Вулкан» (пьеса в 8 синтетах, 1926), «Океан сердца» (пьеса в 5 синтетах, 1929) и др.

Между тем от футуризма отошли сначала Б.Корра, затем Канджулло. Футуризм постепенно угасал, и предложение, прозвучавшее на Первом футуристическом конгрессе (ноябрь 1924), создать футуристическую империю во главе с Маринетти-императором уже свидетельствовало об определенном застое в этом движении.

В 1927 году Маринетти исполнилось 50 лет. К этому времени итальянский футуризм уходил уже в область истории. Влияние Маринетти на искусство и литературу падало. Как бы в компенсацию за это 18 марта 1929 года Муссолини ввел бывшего вождя футуристов в итальянскую Академию наук. Комментируя это событие, московская «Литературная газета» писала: «Многочисленные фотографии, запечатлевшие это торжественное событие, показывают, что бывший буйный футурист, ниспровергавший когда-то всех и всяческих идолов, чувствует себя ныне высоко польщенным милостью диктатора и неизменно парадит на первом плане всех снимков своим расшитым мундиром».

В 1931 г. Маринетти — секретарь итальянской Академии наук — посетил Венгрию. В его честь в Будапеште было созвано экстренное заседание Академии наук. Переполненный зал разразился аплодисментами, когда Маринетти после произнесенной в его честь речи показался на кафедре. Вместо доклада он читал свою новую поэму «Обыденная жизнь одного фокстерьера». Войдя в роль, 54-х летний академик лаял, визжал, скакал взад и вперед, хватал присутствующих за икры. В апогее, подражая собаке, он задрал ногу у стены. Зал аплодировал. Из «тупика искусства» Маринетти все еще видел выход в футуризме, а из «общественного тупика» — в фашизме. И в эти годы он продолжал издавать новые манифесты:

«Манифест аэроживописи» (1929), «Манифест аэропоэзии» (1931), «Футуристическая фотография» (1930) и др. Однако ничего принципиально нового он не предлагал, зачастую повторяя лишь свои прежние идеи.

Требования, предъявленные фашистским режимом к официальному искусству, постепенно приводили к вытеснению футуристического и других направлений авангардистского творчества. Отчасти в силу собственной эволюции, отчасти под натиском официального «классицизма» итальянский футуризм в течение 1930-х годов почти полностью исчез с арены культурной жизни. В то же время, в отличие от русских авангардистов, многие из которых оказались репрессированы, бывшим лидерам итальянского футуризма диктаторский режим воздавал всевозможные почести. Это, конечно, не исключает тех внутренних трений, которые возникали из-за расхождения идеологии футуризма с официальным искусством и неизмеримо возросшего натиска враждебной критики. Однако внешние приличия соблюдались.

И в этот период Маринетти остался верен себе. Так, он участвовал в войне с Эфиопией (1935-36). Упорно выпускал новые манифесты, даже когда от футуризма остались одни воспоминания. В феврале 1940 года был опубликован один из последних его манифестов «Футуристическая математика». Необходимо отметить и то, что оставаясь итальянским националистом в условиях фашистского режима, он открыто осудил антисемитизм, когда в фашистской Германии начались массовые еврейские погромы (1938). До конца жизни Маринетти не изменил своим идеалам, оставаясь апологетом футуризма и войны.

Мы подошли к одному из последних эпизодов бурной биографии вождя футуризма, вплотную связанному с основной темой этой статьи. В 1942 году он вновь посетил Россию, однако совсем не с той миссией, которая предполагалась в 1914 г. К футуризму эта поездка отношения не имела. 62-летний Маринетти прибыл на Сталинградский фронт инспектировать 8-ю итальянскую армию. К этому времени уже существовала легенда о «первом визите». Последнему визиту тоже оказалось суждено обрасти легендой. Обстоятельства ее возникновения ясны не до конца, но все же не столь туманны, как в случае «первого визита». Невольным автором ее стал Александр Парнис, а разнес по свету «отец русского футуризма» Давид Бурлюк. Согласно этой легенде, в конце ноября 1942 года Маринетти попал под Сталинградом в плен, содержался на Урале в городе Асбест, где его следы и затерялись⁷⁴. В том, что это событие действительно относится к разряду легенд, убеждает

74 Color and rhyme, 1964/65, N 55, c. 32.

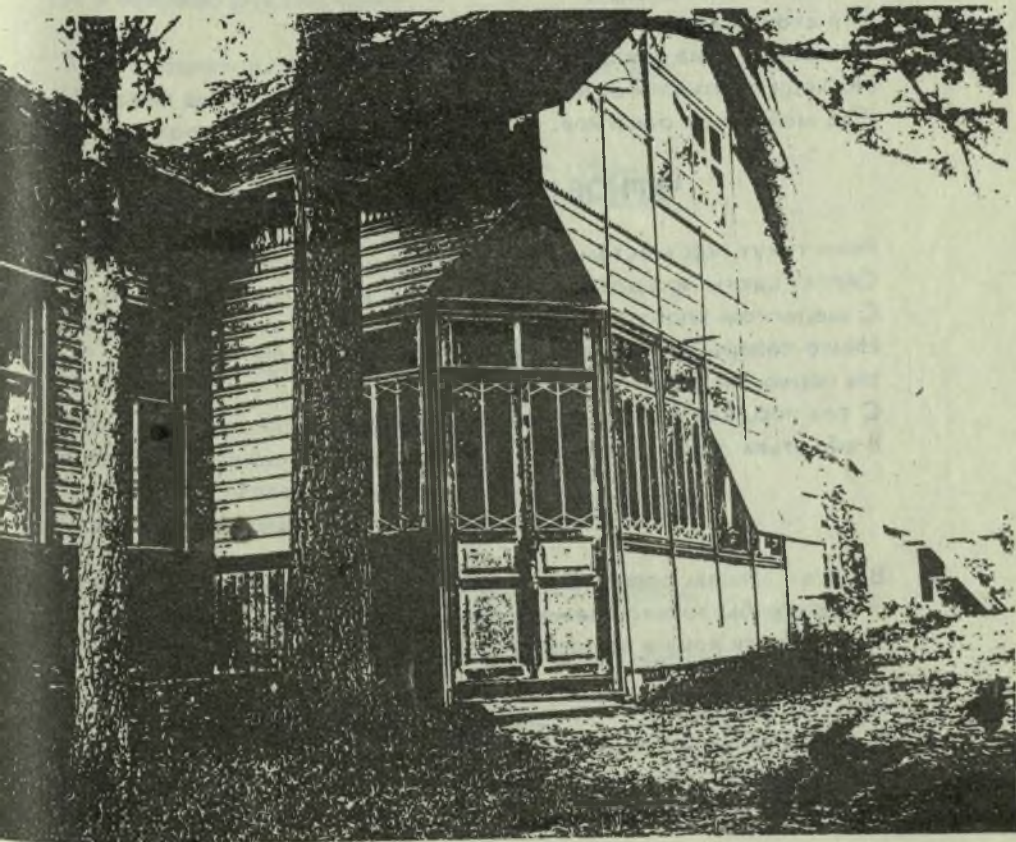
отсутствие каких бы то ни было свидетельств, подтверждающих его. Нет также никаких данных о возвращении итальянских пленных из России после капитуляции Италии летом 1943 года. Сам А.Е.Парнис также считает это событие легендой. Без сомнения, в советском плену Маринетти не был, иначе он не смог бы в начале 1943 года оказаться снова в Италии. Он вернулся из России больной и усталый и в течение 1943-1944 годов работал над своими последними поэмами. 2 декабря 1944 г. он скончался от внезапного сердечного приступа в Северной Италии (Беллаглио, провинция Комо) и был с помпой похоронен на Монументальном кладбище в Милане.

Собственной биографией Маринетти постарался реализовать тот образ «футуриста жизни», который создан в его манифестах и романах. Конечно же, биография вождя не исчерпывает всего многообразия итальянского футуризма, претендовавшего на охват всех сфер жизни: от одежды, мебели и предметов обихода до определенного типа поведения и программы глобальной переделки мира. Однако биография эта, по-видимому, отразила самые характерные черты футуристического движения, остающегося и по сей день одним из самых ярких воплощений авангардистского «вызова звездам».

Автор глубоко благодарен
Светлане Шаровой и Евгению Кушнеру
за помощь в работе с итальянскими текстами.



ЭТАЖЕРКА



Эдит Сёдергран

ЗВЕЗДЫ

Когда наступает ночь,
Я стою на ступеньках и слушаю.
Звезды роятся в саду,
А я стою в темноте.
Слышишь, одна звезда упала со звоном?
Не ходи по траве босиком:
Сад мой полон осколков.

ЧЕРНОЕ ИЛИ БЕЛОЕ

Реки текут под мостами,
Светят цветы при дороге,
С шелестом клонятся рощи к земле.
Ничто теперь для меня ни высоко, ни низко,
Ни черно, ни бело
С тех пор, как я видела женщину в белом
В объятьях любимого мной.

ЖЕЛАНИЕ

Во всем нашем солнечном мире
Я желала бы только скамейку в саду,
Где греется кошка на солнце.

Там сидела бы я
С письмом на груди,
С маленьким, только одним письмом.
Вот о чем я мечтаю...

ЛЕСНАЯ ТЬМА

В унылом лесу
Живет больной бог.
В темном лесу цветы так бледны,
И птицы пугливы.
Почему слышен в ветре тревожный шепот,
И дорога темна от мрачных предчувствий?
В тени покоится бог больной,
И снятся ему злые сны...

НАШИ СЕСТРЫ НОСЯТ ПЕСТРЫЕ ПЛАТЬЯ

Наши сестры носят пестрые платья,
Наши сестры стоят у воды и пьют,
Наши сестры сидят на камнях и ждут,
Вода и воздух у них в корзинах,
Они называют это цветами.
А я обвиваю руками крест
И плачу.
Я была однажды мягка, как светлозеленый лист,
И висела высоко в воздухе синем,
Тогда скрестились во мне два лезвия,
И победитель меня приблизил к своим губам.
Его твердость была так нежна, что я сломалась,
Он прикрепил ко лбу моему звезду
И оставил меня дрожащей в слезах
На острове, что зовется зимой.

ДУША В ОЖИДАНИИ

Я одна у моря, среди деревьев,
Я живу в дружбе со старыми елками на берегу,
И в тайном согласи со мной все молодые рябины.
Одна я лежу и жду,
Ни один человек не проходит мимо.
Большие цветы глядят на меня с высоких стеблей,
Горькие травы вьются, меня обвивая,
У меня для всего одно лишь название, и это любовь.

БЕСПОКОЙНЫЕ СНЫ

Далеко от счастья лежу я на острове в море и сплю.
Туманы встают и тают, меняются ветры,
Мне снятся тревожные сны о войне и больших празднествах
И о том, что мною любимый стоит на борту корабля и смотрит,
Как ласточки в небе летают, не зная тоски.
Что-то тяжелое в нем лежит в глубине без движенья,
Он видит, как судно скользит в неприветное будущее,
Как острый врезается киль в сопротивление судьбы,
Крылья несут его в край, где все, что он сделает, будет напрасно,
В край пустых бесполезных дней, далеко от судьбы.

переводы Веры Булич, 30-е гг.:

МЫ ЖЕНЩИНЫ

Мы — женщины, мы ближе к темной земле.
Мы спрашиваем кукушку, какая будет весна,
мы припадаем к высокоствольной сосне,
мы на закатном небе ищем примет и советов.

Я любила мужчину — он ни во что не верил.
В холодный день он пришел, ничего не видя,
в тяжелый день он ушел, ничего не помня.
Если родится мертвый — значит, в отца.

ОПАСНЫЕ СНЫ

Не приближайтесь к своим снам:
они — туман и могут исчезнуть,
они опасны и могут ожить.

Вы видели, какие глаза у снов?
Они больны и ничего не видят,
они смотрят в себя.

Не приближайтесь к своим снам:
они — обман, они должны уйти,
они — безумие, они хотят остаться.

переводы И.Бочкаревой

Стихотворения из сборника *Dikter* (1916, Стихотворения)
Рукописи находятся в SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURAN
KIRJALLISUUSARKISTO, HELSINKI

Skolflickan Edith
Södergran före den
långa sjukhus-
vistelsen tog vid.
Fotografen A. V.
Kondratjeva,
verksam i S:t
Petersburg, hade
en filial i Raivola
som betjänade
sommargäster.



ЭДИТ СЁДЕРГРАН (1892-1923)

Эдит Ирена Сёдергран родилась 4 апреля 1892 года в СПб. Ее отец, Маттс Сёдергран (1846-1906) был родом из Нэмпеса, расположенного на западном побережье Финляндии, где в основном жило шведское население. Он происходил из многодетной семьи и был очень слабым от рождения. После окончания технического училища работал механиком. В 1882 году приехал в Россию и работал в Калуге, Смоленске, Динабурге. Его первая жена и оба ребенка от этого брака умерли рано. В 1890 году он женился во второй раз.

Его вторая жена, Хелена Ловиза Хольмрос, была дочерью преуспевающего хозяина литейной фабрики в Петербурге. Она отличалась образованностью, начитанностью, литературными интересами. Интересы же к домашнему хозяйству не проявляла вовсе. Был какой-то роман, внебрачная беременность, окончившаяся выкидышем. К счастью, объявился и жених, когда ей минуло тридцать лет.

Через три месяца после рождения дочери супруги сбегали от холеры из Петербурга в Райволу. Отец Хелены, Габриэль Хольмрос, купил там молодой семье двенадцатикомнатный деревянный дом с большим садом. После его смерти, в 1896 году, Сёдерграны унаследовали 80000 рублей. Деньги были быстро растрачены, и Маттс стал искать утешения в алкоголе.

В 1902 году мать и дочь переехали в Петербург, чтобы Эдит могла посещать немецкую школу Св.Петра на Невском. Лето они проводили в Райволе. Чтобы единственная дочь не чувствовала себя одинокой, мать взяла в семью сиротку Синге из многодетной семьи. После какой-то домашней ссоры Синге убежала из дома и попала под поезд. Хелена нашла ее изуродованный труп на маленьком полустанке и пережила тяжелый психический кризис, ее лечили гипнозом.

Несчастья не прекращались. В 1904 году отец заболел гриппом с последующими осложнениями на легкие. Он умер в туберкулезном санатории в 1906 году. Эдит была очень привязана к отцу и глубоко переживала его медленное угасание. Этот ужас навсегда вьелся в ее душу. Через два года, в 16 лет, она сама заболела туберкулезом и ее поместили в тот же санаторий (Нуммела), где умер ее отец. Там Эдит чувствовала себя нехорошо и в сентябре 1911 года отпросилась домой, позже лечилась в Швейцарии. В 1914 году она окончательно возвращается в Финляндию и посвящает себя стихам. Первые поэтические опыты — на русском и немецком языках — относятся

еще к школьным годам. Стихотворения не превосходили подросткового уровня. Затем — полный переход на шведский.

В 1916 году выходит ее первый сборник «Стихотворения» (Хольгер Шильдт Ферлаг, Хельсинки). Тут — абсолютное порывание с канонами, девичий рифмованный маньеризм остается позади. Сборник встречен большинством критиков с непониманием. Критик Хагар Ольсон, в дальнейшем лучшая подруга Эдит, отметила, что читатель не подготовлен к такой поэзии. Через два года — новый сборник «Сентябрьская лира». В отличие от элегического первого сборника — это гимническая, экстатическая сверхчеловеческая книга в стиле Ницше, которого Эдит избрала своим божеством. В предисловии она пишет: «Моя уверенность в себе зиждется на том, что я знаю свою величину. Мне не пристало делать себя меньше, чем я есть». Неслыханное заявление. Этого не поняла даже Хагар Ольсон. Эдит сопротивляется ей и — находит в ней сестру. Об этом говорит цикл «Алтарь роз» и переписка с Хагар. Это — свидетельство воспламеняющейся натуры Эдит, ее энергии, жажды действия, ее власти, но также и способности к духовному подчинению до самопожертвования. Сворачивается поворот от Ницше к Штайнеру и его учению об антропософской реинкарнации, а в конце пути — к Христу.

Болезнь наступала. Писать становилось все труднее. В фондах Шведского литературного общества в Хельсинки находится архив Эдит Сёдергран. Листая его, видишь перед собой жизнь, проходившую в постоянном ожидании: выздоровления, любви, дружбы, гостей, славы. А в действительности были лишь мать, пара кошек и собака. После революции, после русских событий наступила истинная нищета, денег не хватало даже на почтовые марки. Эдит умерла летом 1923 года, в ночь на Ивана Купала.

(Из послесловия Рихарда Питфраса к сборнику стихотворений и писем Эдит Сёдергран на немецком языке. Лейпциг, 1990).

Гуннар Экелёф

ПАЛОМНИЧЕСТВО — 1938

Из окна вагона Финляндия производила мрачное впечатление. Очень часто ландшафту не хватало чередования лесов, озер и гор, чем, как нам кажется, владеем мы, хотя я и успел кое-что подучить касательно шведского многообразия и финской импровизационности. Думаю, что серьезное началось с Обо, воплотившись в замок, сохранивший свой строгий облик в большей степени, чем наши вазовские крепости. Эта серьезность сопровождала нас по всему пути вплоть до Выборга, снова воплотившись в мрачную, высокую и старую пограничную крепость, макушка башни которой уже выглядела слегка по-восточному.

Более восточная часть Карельского перешейка с бесконечными песчаными берегами и бесконечными стоящими на песках лесами также не составила исключения. То тут, то там взгляду открывались протяженные пустоши со скудной растительностью — следствие ли это лесных пожаров, военных ли действий, а может быть, ухода местных жителей? — это осталось неизвестным. Опустошенность нарастала по мере приближения к русской границе. При взгляде на эти манящие песчаные бухты, почти безлюдные, странной казалась мысль, что менее чем в пяти милях отсюда находится город с миллионным населением. Приграничная область полностью обезлюдела. Мрачные воспоминания и предчувствия были причиной того, что никто не хотел здесь жить.

В предместье любого крупного города всегда найдется какой-нибудь таинственный необитаемый дом того типа, который писатели-детективщики любят делать основным местом действия криминальной истории. Тут, по берегам, их были тысячи. Карельский перешеек был «ривьерой» царского времени. Очень большие и пустынные здания вокзалов, все еще напоминали об оживленном движении. В тихой Куоккале, никогда не принадлежавшей к более или менее крупным или престижным местам, где я провел нынче две недели у художника Свенки Гренвалля и у Эльмера Диктониуса, триста извозчиков ждали когда-то перед вокзалом. Ныне же хватило одного форда шофера Пекканена.

Повсюду в лесах были рассеяны старые виллы. Иногда они выглядели вполне по-человечески, хоть дерево посерело, а оконные рамы отслужили свой срок, иногда виднелась провалившаяся крыша, и плети разросшейся ежевики лезли в прогнившие пустые оконные проемы, иногда вообще ничего не оставалось, кроме высокой, узкой, обгорелой печной трубы или каменного фундамента после того, как

дом был снесен, а сруб продан. Говорят, что недалеко от Райайоки, пограничной станции, прямо среди подрастающего молодого леса, находился поселок, состоящий из вилл такого рода, что создавалась полная иллюзия столетнего сна спящей красавицы. Но этого я так и не увидел.

Вдоль берега, на участках с изумительной природой, в виллах, пользовавшихся когда-то громадным спросом, еще жили люди: отчасти это было угасающее население русского и русско-немецкого происхождения, отчасти — разрозненные дачники. Способ, каким Россия давала о себе знать, состоял в пучках лучей постоянно шарящих по небу прожекторов и в грубой канонаде кронштадтской артиллерии, учебные залпы которой будили по ночам жителей, подобно землетрясению. При этом на стенах тряслись картины. Еще мне вспоминается электровоз с какой-то узкоколейки по ту сторону границы, который подавал голос каждые полчаса.

В таком окружении, только более примитивном и еще до наступления машинной эпохи, достигло наивысшего расцвета поэтическое творчество Эдит Сёдергран — или точнее — не в окружении, а в оазисе пустыни, в Райволе. Тот, кто любит ее поэзию и сумел побывать в местности, где она жила, навсегда запомнит это место. Это был совсем маленький круг, маленькое бедное пятно на земле, но та, о которой мы говорим, сумела расширить его для себя настолько, что крохотное пятно стало миром. Мир этот состоял из церкви, кладбища, сада с большими деревьями и, наконец, озера далеко внизу — это были как бы четыре силы, поделившие между собой небольшой участок земли, четыре сферы, крест. Но они чудесным образом соответствовали друг другу, эти четыре силы — меж ними не было несогласия. Благодаря такой слаженности это место приобрело характер перекрестка, характер центра. На земле существует немало культурных средоточий, мест, где сконцентрировано интенсивно-сгущенное настроение. Столь интенсивное настроение, которое чувствовалось здесь, я встречал редко.

Это действительно странно. Старой, ветхой была деревянная церковь, очень русская, живописная, сплошь изукрашенная деревянной резьбой, но без особого блеска. Кладбище — андреевские кресты, искусственные цветы, все же увядшие под воздействием времени, религиозный мусор, пожелтевшие фотографии в узком стеклянном обрамлении — все это, более чем что-либо иное, создавало впечатление всеобщей бренности. Сад, в сущности, был обычным заросшим садом, а озеро — обычным озером, через которое текла река. Но все, несмотря на жалкий распад, было прекрасно и все, казалось, жило.

Нас приняла старая мать Эдит Сёдергран. К тому времени она почти ослепла, и пол был усеян перьями птиц, которых притаскивали в комнату кошки Колек и Сильверфута. Она показала нам большую, холодную, голую комнату, где умирала ее дочь — мало подходящее место для легочного больного. Со стен беспорядочно свисали обои, прямо на них были наклеены художественные репродукции. Дом был серым и обветшавшим. Госпожа Сёдергран наощупь проводила нас в сад. Она говорила: «Здесь должны стоять несколько берез, здесь, слева, а там, впереди, — куст сирени... Это ведь сирень?... А там, сзади, стоят большие деревья, их так любила Эдит — там должен быть клен, да, клен... и еще лиственницы, большие лиственницы. И где-то здесь должна расти сибирская ель, у нее совсем мягкая кора, ее можно узнать по коре... Эдит часто говорила: «А сейчас мы пойдем и освободим», — она имела в виду, что мы должны выйти в сад и обрезать сухие ветви деревьев и кустов, чтобы они им больше не мешали...»

Госпожа Сёдергран продолжала свой монолог, ничего не видя. Слушая ее речь, мы часто узнавали в ней угловатый и неуклюжий шведский язык стихов ее дочери. Это был иностранный шведский — ведь Эдит Сёдергран родилась в Санкт-Петербурге — шведский, который был связан со своей исторической родиной лишь через книгу. Г-жа Сёдергран тоже говорила по-книжному, она выговаривала все формы множественного числа.

В одном из уголков кладбища с видом на озеро находилась могила с простым камнем Аалтонена. Нужно было видеть эти деревья и кусты, в которых покинуто бродил ветер, нужно было почувствовать магнетизм этого места, чтобы по-настоящему понять строки, высеченные на камне:

Взгляни, вот берег вечности,
здесь мимо шумит река
и смерть играет в кустах
свою вечно одну и ту же монотонную мелодию...

Рядом с могилой был откос, поросший малиной, о котором идет речь в стихотворении «Деревья моего детства»:

Деревья моего детства стоят высоко в траве
и качают головами: что с тобой стало?

.....

Когда ты была ребенком, ты вела с нами долгие разговоры,
твой взгляд был мудрым.

Теперь мы хотим сказать тебе тайну твоей жизни:

ключ ко всем тайнам лежит в траве на малиновом холме.

Мы хотим толкнуть тебя в лоб, ты спящая,
мы хотим тебя, мертвая, пробудить от твоего сна.

В этом переживании природы — одновременно и глубина и радость, что дано не каждому художнику, и возвращение борющегося и мятежного духа к простому и первичному — туда, где все одушевлено и где ключи от всех загадок можно найти в самой ближайшей близости, в таком месте, о котором думаешь меньше всего и в котором можно искать с тем же успехом, что и за пределами страны.

В другом стихотворении, «Цыганке», это настроение проявлено более отчетливо:

Я цыганка из чужой страны,
В коричневых, таинственных руках я держу карты.
Проходят дни и дни, монотонные и пестрые.
Упрямо смотрю я людям в лицо:
Что они знают о том, что карты горят?
Что они знают о том, что картинки живут?
Что они знают о том, что каждая карта — это судьба?

(пер. Нелли Закс)

Это стихотворение — о картах, о ее собственных стихах — не раскрывается во всей своей наглядности тому, кто не видел цыган Карельского перешейка, не таких смешанных по расе, а, может быть, просто с более ярким колоритом в одежде — истинные чужаки в этой столь нордической местности. И вообще, у Эдит Сёдергран существует немало стихов, которые вдруг находят объяснение благодаря впечатлению, задержанному здесь сетчаткой глаза. К таким стихам, по-моему, относятся несколько небольших вещей из самого первого ее сборника «Стихотворения», например, «Осенние дни», «Бледное озеро осени», «Звезды», «На окне стоит свеча», «Ранние сумерки» и многие другие, кажущиеся поначалу мелочами, в которых, однако, на самом деле, кроется нечто от концентрированности китайской лирики.

+ + +

Побывать в Райволе — значит побывать в гостях у бедности (если опираться на внешние впечатления). На собирателя литературных открыток это место должно было бы произвести впечатление крайней нищеты. Здесь жил человек, который был болен, беден и унижен насмешками, но, несмотря на все это, ему удалось превратить все, что он имел на этом маленьком пятячке — сад, кладбище — в арену

душевного приключения общечеловеческого масштаба. Сколько потребовалось на это внутренней силы и уверенности. Вместо жалоб возникали мужественные строки, такие как эти, написанные во время войны и голода:

Любить должны мы в жизни долгие часы болезни
и тесные годы тоски,
как краткие мгновения, когда цветет пустыня.

+ + +

А ныне кажется, будто всего этого никогда и не было. Или осталось лишь в стихах и на нескольких пожелтевших фотографиях.

Последнее, что я слышал о Райволе (это было уже давно и, кажется, все от того же Свенки Гренвалля, который попал туда где-то во время войны), так это то, что на этом месте стоял огромный гараж для армейских автобусов. От старого дома Сёдергранов не осталось и следа, от церкви тоже. Старые русские могилы туберкулезных больных сровняли с землей, надгробный камень с могилы Эдит Сёдергран пошел на строительство гаража или на какое-нибудь укрепление, откуда мне знать. Нет уже и ее «больших дерсвьев», только озеро не иссякло, может быть осталось еще несколько кустов, в которых могла играть свою мелодию смерть.

Я спрашиваю себя, открыты ли сейчас вновь пляжи Карельского перешейка для населения Ленинграда, но думаю, что, скорее всего, они отгорожены колючей проволокой.

Но мусор, который обычно прибывает к берегу, остался, по-видимому, тем же самым продуктом отходов, идущих преимущественно из больших городов. Он состоял, в основном, из плывущих пемзообразных кусочков, вероятно, котловой накипи, из вечно той же самой водянистой разваренной капусты и вечно тех же самых обрывков матросских тельняшек в бело-голубую полоску.

+ + +

Теперь, по словам Ральфа Парланда, побывавшего там, на этом месте стоит громадный «Народный дом», с удовольствием украсивший себя новым, знаменитым надгробным камнем.

Перевод с немецкого.

Опубликовано в качестве предисловия к сборнику Эдит Сёдергран «Klanenspur» — в немецком переводе, издательство «Реклама», Лейпциг, 1990).

ИЗ ПЕРЕПИСКИ С ХАГАР ОЛЬССОН

Хагар Ольссон (1893-1978) — писательница и критик, поборница развития современной поэзии в Финляндии, с 1918 года сотрудничала с газетами и журналами («Дагенс Пресс», «Ниа Аргус», «Ультра»), рецензировала сборник Эдит Сёдергран «Сентябрьская лира» 11 января 1919 года в газете «Дагенс Пресс», выходящей в Хельсинки. Это явилось началом переписки, продолжавшейся до самой смерти Э.С. и переросшей в тесную дружбу. В 1940 году Х.Ольссон издала стихи своей подруги, снабдив их предисловием, а в 1955 году опубликовала адресованные ей письма поэта.

N1 после 11 января 1919

Ницше говорит: Я шел ко всем, но не пришел ни к кому. Не происходит ли сейчас так, что я к кому-то прихожу? Сможем ли мы протянуть друг другу руки? Я тут же перехожу в атаку, я хочу, чтобы Вы видели во мне того, кто я есть на самом деле, а себя показали тем, кто есть Вы. Смогли бы мы поладить настолько, чтобы все препоны пали? Я все еще разговариваю с вами наощупь, на унижительном языке чужака. Ницше — единственный человек, перед кем я не побоялась бы открыть рот. Явитесь ли Вы огненным морем, в которое я захотела бы броситься? Если Вы рассмеетесь, Вы — моя. Если Вы не рассмеетесь, значит Вы, несмотря ни на что, можете быть способны на дружбу, перед которой с полным основанием предостерегал своих Ницше.

N2 26 января 1919

Мое прелестное дитя! Приехать не могу. Бессонница, чахотка, пустой кошелек. (Живу продажей мебели и домашней утвари. Состояние в русских и украинских облигациях, спасение зависит от крушения большевизма). Если наладится со сном, попытаюсь приехать в ближайшие месяцы, но уверенности нет. Теперь я поняла, что мне нужно: ваш объективный взгляд, а ума у Вас хватит на нас обоих.

Можно ли спросить: Вы работаете над этим делом в общем и целом или нацелены на определенные личности? Составьте список. Я хотела бы уловить некоторые души. Напр., Хеммера, чтобы он пел

для дела, и Гротефельда¹, чтобы он для дела пел или хрипел. Рагнара Экелунда я при этом не учитываю. Я разделяю мнение Северянина, что талант, который несколько скупен¹, не обладает достаточным гением. В настоящее время Игорь Северянин является крупнейшим лириком России. Я видела его на одном вечере декламациями, никогда с ним не говорила. Это человек, к которому я тотчас же почувствовала такое же доверие, как к Вам. Он — очень большая сила и, возможно, будет восприимчив к нашим идеям. Но сначала нам придется его хорошенько воспитать, у него явные кабарешные манеры и его нельзя предоставить самому себе. Он станет мостом к России, в его лице мы наверняка поставим на ноги лучшую Россию. Что Вы думаете насчет Швеции? Пойдет ли дело там? Одним прекрасным днем мы наверняка утвердимся в Европе. Обращаетесь ли Вы устно к отдельным лицам, намереваетесь ли это сделать? Вы должны прочесть лучшие стихи Северянина, это придется Вам по сердцу, хотя он и увяз глубоко в будуарах и наших высот вы у него подчас и не обнаружите.

N 28 30 августа 1919

...

Достала свои книги и писала, прислушиваясь к своему сердцу и выстраивая по нему слова. Сначала Сельме (Лагерлеф - Г.К.) и Северянину, потом Вильгельму Экелунду. Ни одного письма не отправила. Все это время ощущала в себе такое inferнальное электричество, что это было почти невыносимо. Как будто я находилась непосредственно в объятиях Эроса, все время. Я чувствовала себя блаженнейшим существом из всего того, что поднялось из глубин бытия. Именно в этот момент необходимо было бы поймать настроение. Сочиняла стихи, но это еще не период вдохновения. Нужно, чтобы кто-нибудь вонзил мне в грудь кинжал. И нет никого, кого бы я сочла достойным принять страдания. Рань меня, Хагар! Если бы я теперь смогла писать, все, что я написала до этого, оказалось бы ерундой. Только сейчас я была бы я.

N 37 16 апреля 1920

...

¹ Ярл Хеммер (1893-1944) и Эрик Гротефельт (1891-1919) - финляндские шведские поэты.

Я была форменно испугана, что ты разговаривала с Шильдтом и Союзом Писателей. Я никому не хотела бы быть в тягость, если бы этого можно было избежать. В данный момент я тебе мешать не буду, положение отчаянное, но как только оно изменится, я перестану докучать и Шильдту и союзу. Мы разговаривали с покупателями: хотим продать нашу огромную развалину, но предложенные цены были неприемлемы. Если дом продать удастся, мы сможем существовать ...

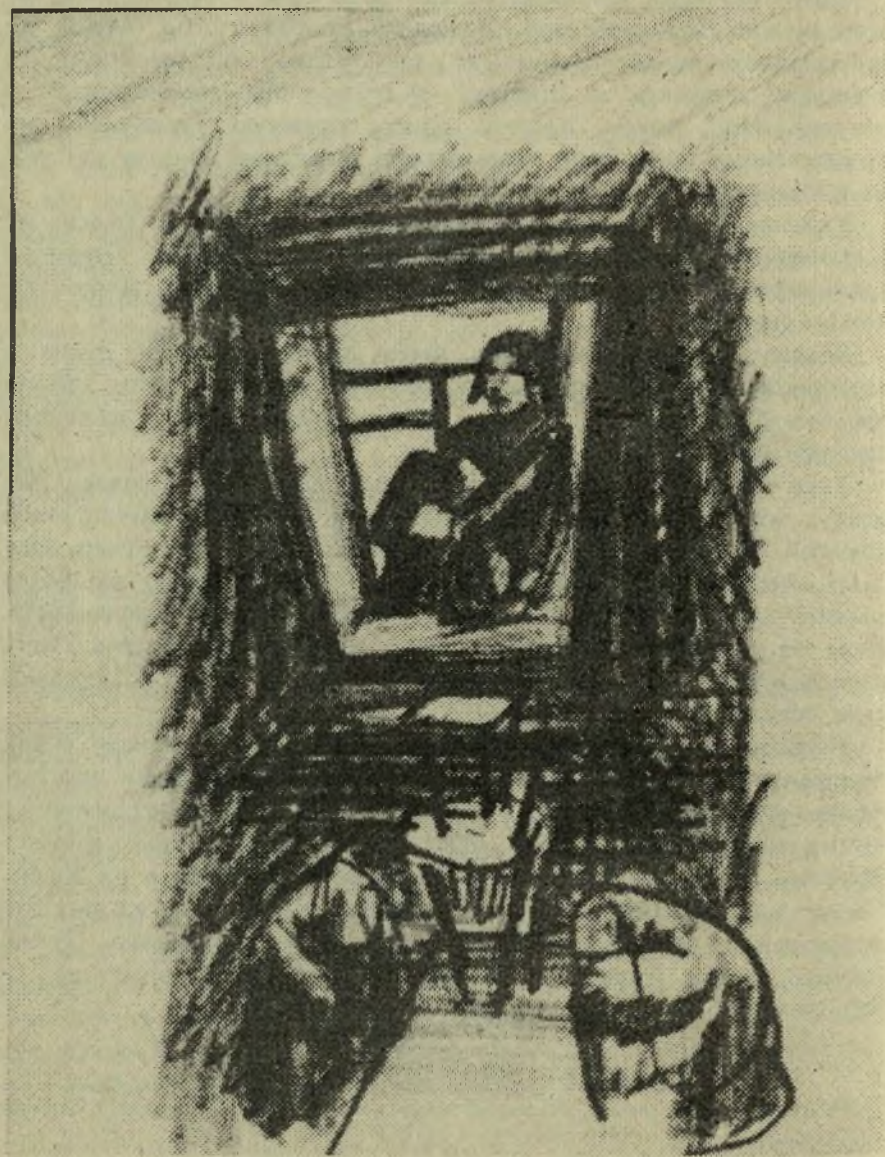
Ужасно, когда приходится рассчитывать на милость людей, не испытываешь даже благодарности, только унижение. Понимаю трагический воздух Шекспира, это жизнь. Обманчивы, обманчивы поиски уверенности.

Ходила вчера к Ленсманам, чтобы продать пузырек духов и кружевной гарнитур. Сначала они заинтересовались, а потом забыли про это. Пойду сегодня к другим. Посматривают косо, и кажешься сам себе попрошайкой.

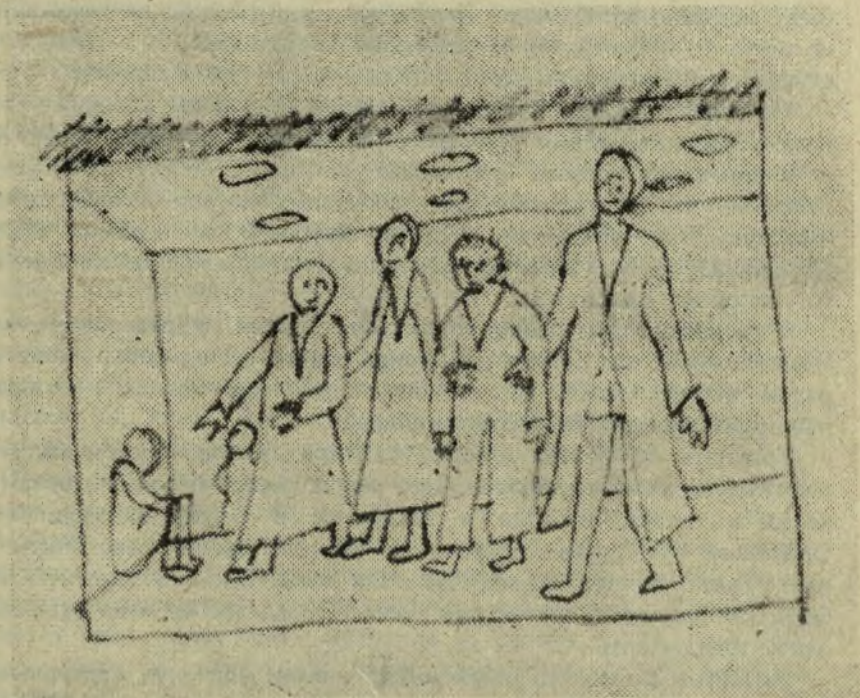
Духи проданы, но я как после пытки. Если дела и дальше так пойдут, мне конец. Ты можешь меня спасти, но гораздо больше своей дружбой, чем материальной поддержкой. Если я действительно буду знать, что вы, ты и Рагнар (Экелунд - Г.К.) — мои, это будет значить для моей души больше, чем материальная обеспеченность. Меня не тронула потеря всего нашего состояния, но смерть Тотти ранила меня. (Любимого кота Эдит застрелили соседи, Сёдерграны даже подали на них в суд. - Г.К.)

Мамина психика всего этого не вынесет. Она слишком много пережила. Такое убивает. Как нищий, ходить к самым простым людям и навязывать им что-то, что им наверняка совершенно не нужно. Лучше бы я этого тебе не говорила. О, как живется беднякам, я лишь чуть-чуть, самую малость заглянула в их жизнь. Мы не знаем размеров страдания, Хагар, мы не знаем жизни. Это униженность, оскорбленность, психическая мука без конца. Нужно много, много страдать, чтобы стать таким кротким и всепонимающим, как Достоевский.

Переводы текстов писем, отрывка из послесловия к стихам Э.С., эссе Г.Экелёфа — Г.Куборской.



«Не город Рим живет среди веков»



Аркадий Селезнев

ПОЛЬСКИЙ САДИК

И.С. (Бабушке)

А почему, собственно, Польский? Неужели в Петербурге мало чудесных садов, парков и садиков? Есть наполненные мраморными скульптурами, с европейской планировкой аллея, с памятниками и мемориальными досками. В них сживали Пушкин и Ахматова. Рядом с ними покушались на русских царей и даже убивали их... Сады эти выскакивали к гранитной невиской набережной, и ручные лебеди плавали в их геометрически правильных прудах... Может быть, все дело во времени? И обыкновенный российский горожанин не очень-то и смотрится за решеткой Летнего сада? А в Польском, втиснутом и затерянном черт знает где, — ему почти хорошо?

Тишайшая улица Егорова линеечкой соединяет середину 1-й Красноармейской улицы и набережную Обводного канала. Вот тут-то и начинается протока, выводящая к садику, о котором речь. Добавим, что за садиком пара проходных дворов и набережная Фонтанки. А упирается зеленый островок в особняк поэта Державина, желтый с белым, почти уцелевший, и чудный хотя бы за то, что он все еще есть...

С другой стороны садика более значительный по сравнению с ним Измайловский сад, а как последний заметный ориентир ширится рядом здание казарм того самого знаменитого полка, в котором нынче небезызвестная «голубая» дивизия...

Тридцать лет назад другие скамейки белели в этом садике, похожие на клавиши распахнутого рояля, особенно белыми ночами, когда и голоса, и лица и воздушнее и ближе одновременно. Сживали тут другие бабушки и внуки, просто пенсионеры и пьянчужки... Кстати, по ходу действия можно было бы заметить, что бабушки, внуки и пьянчужки почему-то во все времена существа одной тональности...

Несмотря на то, что садик нынче совсем заброшен, центральная его аллея так же, как бы случайно, выводит к красавцу-особняку, увенчанному гнездом распахнутого балкона.

Станным образом прежде всего получилось название этой нехитрой попытки припомнить и побродить... Захотелось поглядеть нынешними глазами своими на маленький питерский кусочек, который и не пытался увидеть целых тридцать лет:

Сидит и смотрит, народу почти никого, несутся два карликовых пуделька, да собака, похожая на колли, почему-то перевязанная. Да

седой, красивый дедушка выгуливает внучку и что-то ей поясняет на удивление бережно для нынешних времен... А вокруг несколько выселенных домов, в которых так и не начат ремонт... И сразу же понятно, что выезжать из них никто не хотел... Что в городе сейчас тысячи действительно разваливающихся домов, из которых никого не выселяют, потому что на фиг это кому-то нужно... А вот эти, почти в центре, почти в тишине, постоят сиротливо, проветрятся и... пригодятся для очень хороших людей с очень большими деньгами...

Сидит и смотрит. И ничего вроде бы не случилось за долгие годы. Разве что что-то пришло, а что-то пропало... Из пропавшего странным образом нравится почти все. Появившееся чаще всего настораживает, как чужой запах... И так иногда было бы хорошо, если бы снова...

Молочниц помните? В плюшевых кацавейках, замотанные платками, с бидонами большими и бидончиками маленькими, в самую рассветную муть. От вокзалов в подъезды полусонных домов, по квартирам к заранее приготовленным для них деньгам, к рублям с мелочью, к кивкам, улыбкам, разнося скрежет, хлопанье дверей.

Молочницы пропали одновременно. Как электричество в огромном доме в случае какой-нибудь аварии. Пропали раньше точильщиков, старьевщиков, бродячих шарманщиков и скрипачей и другого необходимого люда, пропажу которого мы начали замечать только теперь, когда совершенно нечем дышать...

Во двор летели монеты, из распахнутых окон выглядывали неленивые, рядом со скрипачом лежала шляпа и хотелось кинуть туда что-нибудь самому... Их не хватает, как пуговиц на пиджаке... Казалось бы, какая ерунда! Запахнулся поплотнее и добежал до дома? Ан нет. Получается, что нет, вроде бы, и не дойти...

Прекрасен и дворник с поливальным шлангом в руках солнечным утром! Легко представить и свиту его постоянную — ватагу мальчишек в сандалиях, майках, кепках, и жирную струю серебристой воды, и потемневшие панели, которые потом станут высыхать неравномерно, словно любимые и не очень... Струя воды взбивает слой пыли, пыль золотится и, словно парча, складками укладывается на обновленное место, которое только что было так противно ей...

Зимой дворники становятся единоличными хозяевами песка. С широкогубых совков они посыпают им обледелые панели и получается что-то вроде фарватера, по которому почти безбоязненно можно пройти в нужном направлении. Кроме всего прочего, у дворников ключи от подвалов и чердаков. Они ругаются чаще, чем просто разговаривают... А живут они почти всегда в первых этажах... Такому тамашние мальчишки и девчонки могли и завидовать...

Понесло! Но иначе ничего не рассказать, не поделиться далеким и близким временем в городе, который теперь больше всего похож на черспаху, медленно, но верно убирающую голову под панцирь...

Трофейные «оппели» и отчественные «эмки», чем-то напоминающие французские булки, или булки городские, как их потом стали называть. Автобусы, двери которых открывались с помощью металлических рычагов, добирающихся до водителя, который ими и руководил. Деревянные троллейбусы, удивительно мягкие. Трамваи с открытыми площадками, с кондукторами, с брезентовыми держалками, висящими в салонах, как восклицательные знаки... Такси марки «Победа», пахнувшие кожей и бензином под бренчанье счетчика.

Было время, когда трамвай номер 4 заползал в центр Васильевского острова. Поворот с Малого на 16-ю линию, речушка, почему-то называемая «черной» в народе... Деревянный мостик, потом кольцо с обязательной травой между рельсами и несколько минут трамвайного отдыха почти на окраине города, возле двух кладбищ: Смоленского и Немецкого... Никакой набережной, причаленные лодки и почти дачное состояние с возможностью снять ботинки...

Толпа нишенок по дороге к часовенке Ксении Блаженной, булыжник, провинциальность происходящего вокруг. Было впечатление, что все это отгорожено, завешено чем-то от всего остального. Был и милиционер, лицо везде обязательное, но здесь какое-то потустороннее, присутствующее только для того, чтобы совсем не спутать время и успеть вовремя перенестись из него, если очень понадобится...

А в Польском садике утро обычного дня. Два мужика, присев на дальнюю скамечку, откупили пузырек с зеленой жидкостью... Курит старик в допотопной папаше. Выкатил коляску молодая мама, ей скучно одной. Посапывает ребенок, солнце забирается все выше и выше... Привели мальчугана в красном. Пробираются бабули на свою излюбленную скамью. Пожилая женщина, скорее всего не бабушка, водит кругами по аллеям чистенькую девочку. Что-то бутаторное, неестественное в каждом их совместном движении... Прогулка с няней? Нет, даже не это, просто выгул за определенную мзду...

Уткнувшись во фланелевую нянину кофту, зажмуривались глаза в кошачьем блаженстве, и происходила защита от всего, даже от собственных родителей... Также снимают леса вокруг построенного дома... Но и няни странным образом стали достопримечательностью... Дети чуть ли не обязательной нагрузкой, необходимой только потому, что точно так же было у других... А старики желтой травой, которую всеми силами пытаются выполоть как можно скорее... Город объемлет все это. Пытается укрыть. Но не всегда, не всегда...

С возрастом, что ли, ищешь спасение в укромных двориках, в спрятанных от суматохи палисадниках, возле деревянных мостов, где-нибудь на Островах? И каждый день, как от чего-то страшного, уходишь с Невского...

Достаточно только повернуть с него, чтобы плечи почувствовали свободу, а голова воспряла, и чем дальше уходишь, тем ближе становятся дома, балкончики, затейливые мансарды, словно дорисованные кем-то очень добрым специально для того, чтобы радовать уставшие глаза... А Невский может стать неожиданной радостью. Может получиться в тебе раз в году или еще реже, чтобы потом очень значительно его вспоминать всю жизнь... Так старушки оставляют в живых шикарную коробку от замечательных конфет. Потом в нее можно будет положить и другие конфеты, совершенно обыкновенные, но присутствие великолепной коробки... Разве этого мало?

И вот ведь еще что, совершенно не мешает парадность набережной Фонтанки, ее роскошные особняки, громадность окон, лепка... Выходит все дело в людях, в вычурности и показухе? Но спасает дворик за забором, сразу же за дворцом Белосельских-Белозерских. В нем много-много лет прячутся от всякой чуши два дерева, может быть Он и Она?.. Дворик крохотный, непонятно, можно ли войти в него с какой-нибудь стороны? Но посмотришь, и становится тихо-тихо и легко-легко...

Свернуть с Фонтанки к цирку, пойти к Садовой, чувствуя справа неприятное щекотание. Хотя, казалось бы, ну чего уж там?! Почти три сотни лет тому назад убили Павла Петровича... А все равно как-то страшновато, словно вчера и собственными глазами, как в кино.

Канал Грибоедова сегодня показался ненастоящим, а вот Мойка, с поворотом налево, повела и растрогала. Повела опять же через Невский (никуда от него в Питере не деться), через Гороховую, мимо площади Исаакиевской, дальше, почти что в тишь, к Новой Голландии...

У Юсуповского дворца сначала вспомнились Новогодние Елки, которыми до сих пор еще разукрашено детство, и только потом уже то, что в самое смутное время здесь убили Распутина...

А знаете, почему Мойка не вызывает чувства брезгливости грязью и мутностью? Ее спасает название! Стоит только добавить частичку «по» к ее остальной буквенной части, а человек ее в себе наверное-таки добавляет... и предупреждается!..

А напротив старых, бурых ворот Новой Голландии нет теперь пивного ларька. А пиво когда-то пилось здесь с великим удовольствием, как после бани. Может быть, уже и не фланирует часовой на том берегу? На нем черная шинель с зелеными

петлицами. Фуражка с таким же околышком. Вот и выходит, что совсем и не часовой он, а стрелок воензированной охраны...

От пивного места виден и Поцелуев мост, и другой, название которого затерялось в памяти. Но возле него, на другой стороне речки, уже на берегу канала Круштейна, что-то вроде часовенки или охранной башни, круглое, в изящных окошечках и с предчувствием художника внутри...

Немного дальше, на Пряжке, жил Блок. А по улице Писарева еще в 69-м году бегала юркая, седая старушенция и, когда открывалась мемориальная доска на доме, в котором некогда жил ее муж, балалаечник Андреев, старушенция эта ворковала возле всяких сановных чиновников, присутствующих на событии... Фамилия седой старушки Дельмас, и именно ей посвятил А.А. цикл своих лучших лирических стихотворений «Кармен». И бывал он страшно рад, когда, возвращаясь вечерами по Офицерской, видел свет в ее окнах, и думал, что вот, она уже вернулась из Мариинского театра, где только что спела очередную главную партию...

В Польском садике в это же время тоже непременно что-то происходит. Ну, например, в Польском садике в это же время и чисто и уютно, и скамейки стоят более уверенно, и заметны следы дворницкой метлы, делающей аллеи аккуратно расчесанными на какой угодно вкус, даже на пробор...

Чтобы снова не начать выдумывать всякую чушь, нужно встать и уйти, и получится что-то вроде варианта одинокой птицы, вынужденной свить себе гнездо где-то на окраине, чтобы никто более сильный не заметил и не разорил... Свила, а сама кружится над старыми местами, до боли знакомыми, но невыносимыми для ее нынешнего проживания...

А как без проходных дворов? Несмотря на их чаще всего военное происхождение, есть в их пунктирах что-то архитектурно-гениальное. Словно подлец-снаряд попал сюда не для того, чтобы порешить несколько десятков жизней, а наоборот, почти созидая...

Повернешь под арку, сделаешь еще два-три поворота, минуешь спортивную площадку, почти обязательную тут, и увидишь глоток другой улицы, которой именно тут захотелось показаться и удивить, и именно тебя, и в самый нужный момент...

А кроме того, столько спасенного времени, тихих мыслей, спрятавшихся деревьев, старушечьих скамеек, голубятен.

Голубятен, которых нет... Обыкновенно голубятнями во дворах «руководили» самые отъявленные хулиганы. Резко отличавшиеся ото всех вокруг тем, что носили они с каким-то особым шиком-присвистом черную ремесленную форму, с фуражкой при ремне, при грубых ботинках и папироске во рту. Так ли противны

они теперь, через много лет, когда не осталось никакого страха перед ними? Да и хулиганы ли эти послевоенные мальчишки, да и может ли старинное понятие «хулиган» вызывать теперь что-либо другое, кроме приятной оскотины по временам более чистым, чем теперешние?..

А в Польском садике алкаш, ослотившись от двух стаканов чего-то непонятного, закрывает глаза в страдальческой приятности и начинает смотреть очередную серию фантастического фильма, может быть и происходившего с ним тысячу лет назад: Мама берет его за руку и они переходят улицу. Улица длинная и ровная. Над нею распахнуты разноцветные дома, самые большие почему-то серые... а редкие, двухэтажные, все беленькие, как на подбор. С мамой хорошо! Небо голубое-голубое! Редкие облачка бордюром, по краям, и где-то струйки дыма, и, кажется, пароходы со всего света идут в нашу гавань, потому что всем хочется жить так же, как живем мы! На маме платье с высокими плечиками, а прическа у мамы волнами, которые продолжают небо, по которому к нам плывут корабли...

А идут они с мамой в игрушечный магазин. И еще он знает, что скоро наступит Новый год, а в витрине магазина стоит игрушечная горка, с нее слетают вниз игрушечные санки с игрушечными детьми...

Все вокруг что-нибудь покупают. Одни елочные игрушки, вторые машинки с открывающимися дверьми. А напротив, в рыбном магазине, в большущем аквариуме плавают живые рыбы, и продавец длинным сачком достает вам ту, которую вы попросите. Потом ее вкусно приготовят и на красивом блюде поставят на праздничный стол... Он увидит все это перед тем, как его отведут спать... И не заплачет, потому что знает, придет и его время вместе со взрослыми отмечать Новый Год...

«Победа» с шашечками пропустила их на другую сторону. А там, за окном, на витрине, торт! Вообще-то он не любит ходить по магазинам, но редкая возможность побывать в них с мамой приподнимает его и заставляет забывать мелкие неприятности, которыми полно детство в любой другой день, кроме Нового года...

Солнце, как слаломист, ползает по неопрятной щеке алкаша, потягивается один из ее мускулов... А следом быть еще одному полуфантастическому кинопоказу под музыку мгновения: Звучит вальс Мендельсона и в распахнутых белых с позолотой дверях стоят гости и родственники... Величественная женщина, напоминающая незабвенную русскую императрицу, благожелательно склоняет голову, давая им понять, что все ожидаемое уже действительно свершилось! Потекла лестница, присела и тут же выпрямилась ковровая дорожка под ногами, и распахнулась дверца автомобиля, чем-то напомнившего тогда старый фотоаппарат «Фотокор», в тайны

которогоходишь в одном особенном состоянии, а выходишь в совершенно другом...

Потом он 24 года проработал на одном и том же заводе и в автобусной давке упивался особым чувством локтя, и закуривал по выходе с неповторимым, почти братским ощущением великого неодинокства, которое никогда уже не проходило в нем... А она воспитывала детей, приносящих им одни только радости, и любил он ее всю жизнь. И никогда не предавали его друзья. В дни праздников они собирались все вместе и пили шампанское, но это уже после демонстрации...

Куда угодно можно попасть из Польского садика. Один, например, попал аж в Соединенные Штаты, к своей бывшей жене и к двум своим дочкам-близняшкам, отпущенным им десяток лет назад за три тысячи рублей... Другой попал в вытрезвитель, но в какой-то особенный, где за услуги платят как за пятизвездочный отель... А так все очень удобно, сиди себе и смотри на акваторию доступного тебе неба, на державинский особняк, на протоку, по которой движутся куда-то торопящиеся люди. И думай, чудесным образом соединив мечту и память, что и удобно, и приятно, и чревато всякими невообразимыми последствиями...

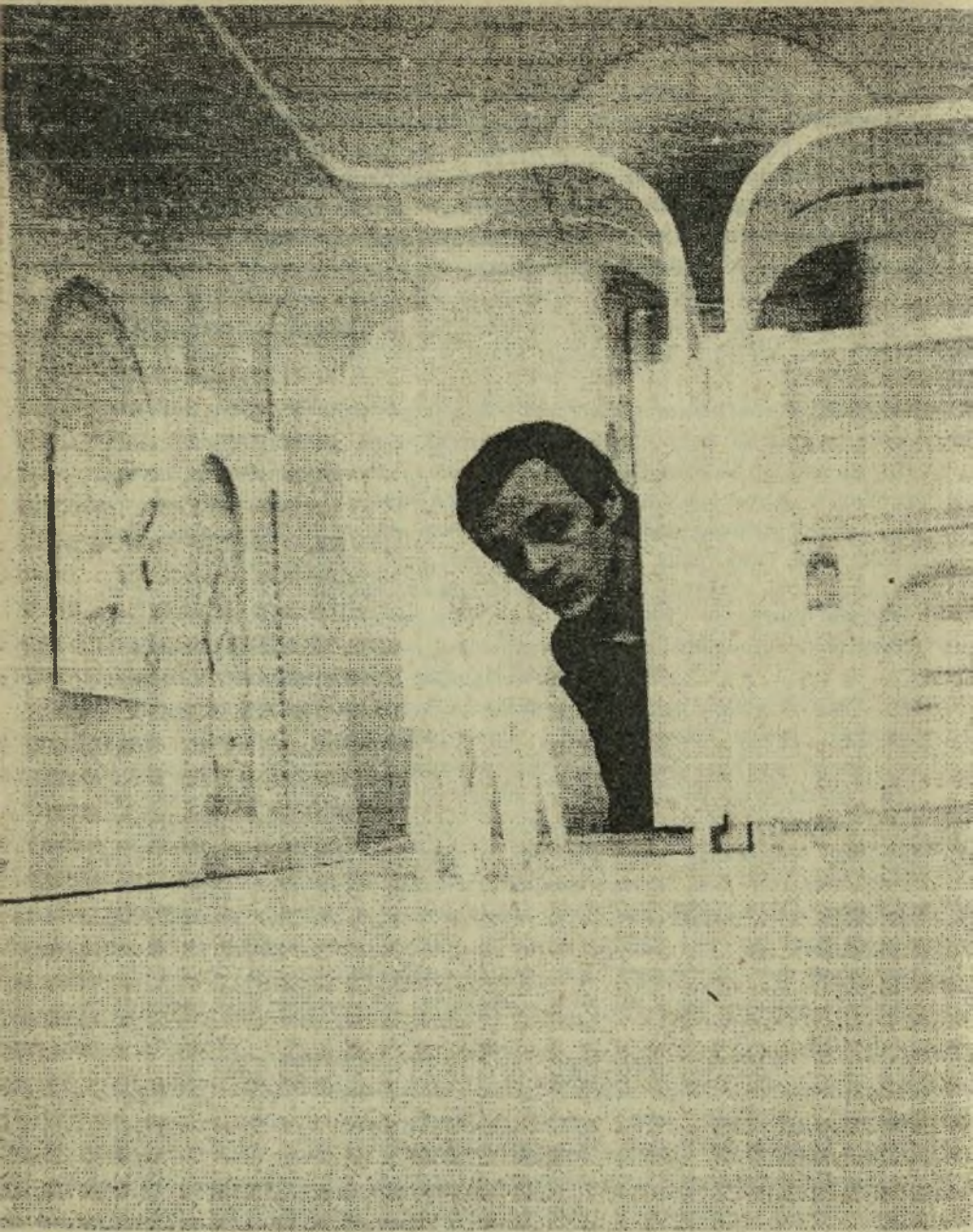
Нам лучше не видеться, сказала ему как-то самая лучшая на свете девушка пятнадцати лет... Набережную между мостом Тучковым и мостом Строителей еще не успели одеть в гранит, и осенняя вода плескалась у самых ног, и где-то уже возле губ, набухшие, вибрировали слова, которые он заранее подготовил для нее... Но она опередила его и на несколько мгновений раньше произнесла написанное выше... Если ему тут же стало стыдно перед ней, значит так оно и должно было случиться, потому что, видимо, он и не любил ее? Стыдно, а потом, почти тут же, сразу же, захотелось стать знаменитым или же спасти ее от каких-то мерзавцев, которые ей угрожали... Чтобы она поняла. Чтобы пожалела...

У Невы могут быть только два настроения, мерзкое и почти похожее, только чуточку получше. Редкие минуты плавности и нежности невской приходятся на Белые ночи. Тогда на стрелке Васильевского или у сфинксов творится вариант протянутой руки: ладонь наползает на гранитную ступень и подушечками пальцев с доброй шершавостью касается всего доступного, чтобы ему получалось или могло... Но тогда, в ноябре, летели над рекой мелкие, всклокоченные гребешки, саранчеватой наглости, птицы с крыльями зла...

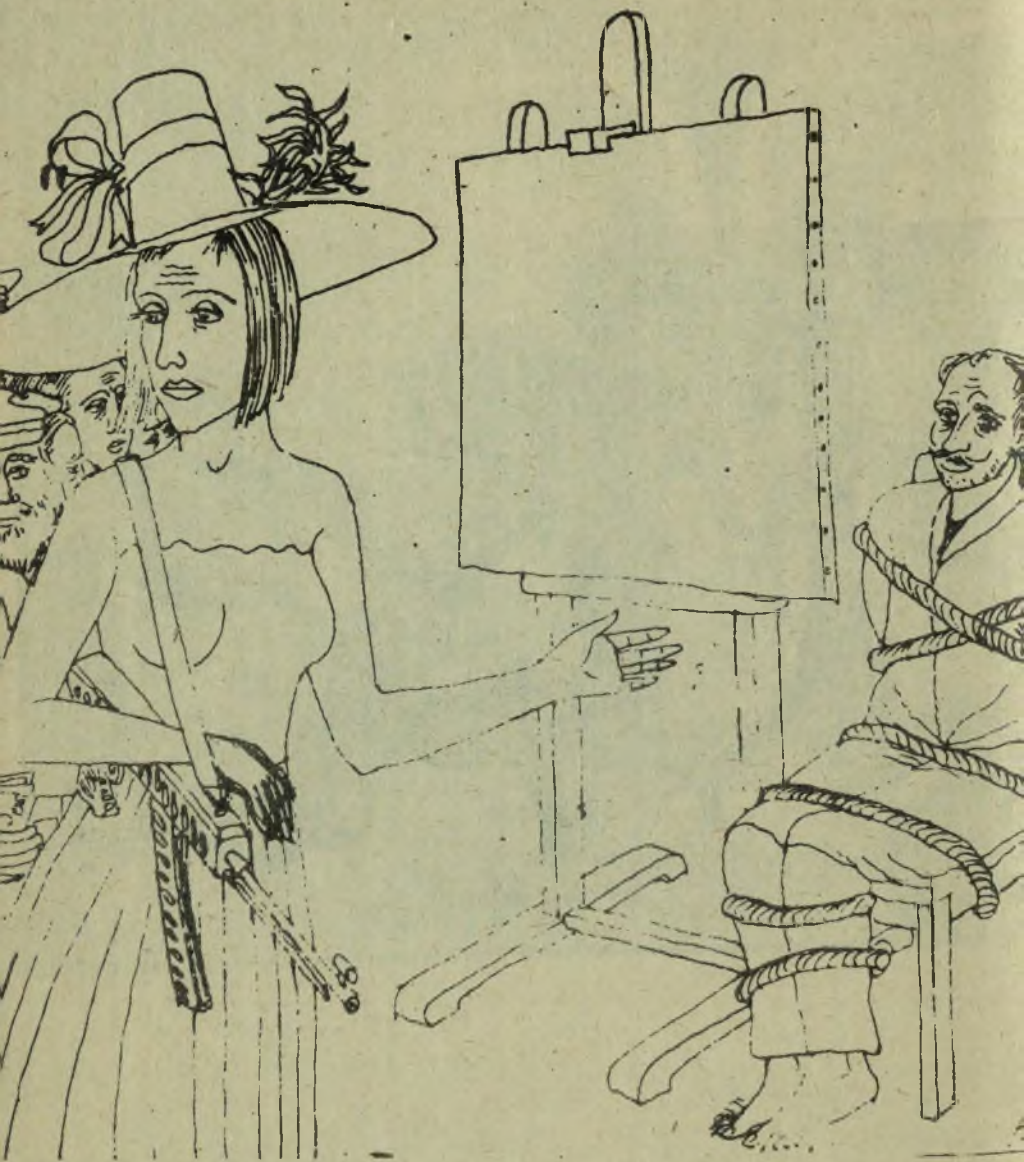
Так и должно было быть. Теперь это совершенно не смущает, и из вариантов тогдашнего дня в памяти остался надолго только очаровательный двухэтажный домик с балконом в районе Биржевого

переулка, широко известный сейчас тем, кто помнит хороший фильм «Монолог». На том самом балконе прекрасный актер Глузский поджидал по вечерам своих непутевых женщин, сначала дочку, а потом внучку... И фильм хороший, и актеры блестящие, а балкончик еще лучше, никуда от такой красотищи не денешься, и главное, может быть, в том, что, как показывают годы и опыт, — красота всегда от кого-то прячется и неспроста.

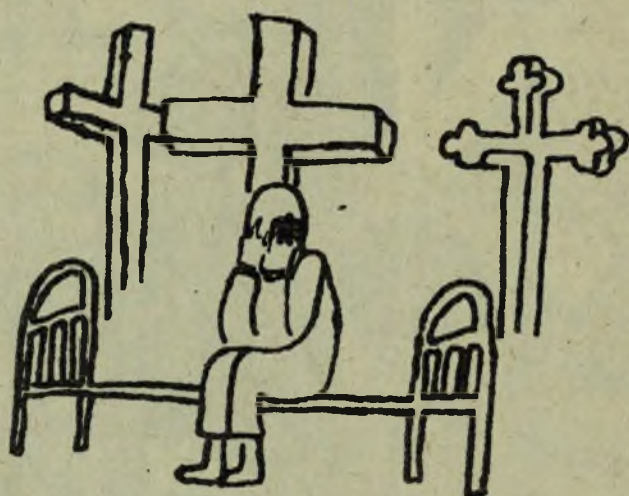
Петербург, июнь 1993













Ирина Сысоева

ВСПЛЕСКИ ПАМЯТИ...

Он сидел на скамейке. Приближался полдень какого-то дня. Садик, скамейка... Когда был маленьким, в садике было лето... потому что родился летом... Затем, почти сразу же, наступила осень. Ее он увидел за окном на Пряжке... А ведь он, даже маленьким, всегда видел опадающие листья, полные желтизны...

Денег нет. В Союз Художников? для этого надо иметь республиканские выставки... А чтобы их иметь — нужно «по-коммунистически» видеть... Фантастический реализм тогда, осенью, прятался...

Осень изредка сменялась весной, вернее чем-то похожим на весну в осеннее питерское время... Тогда получалось выставить что-либо из работ... но за «весной» дул ветер, и сразу же наступала зима, время совершенно несобъяснимое, время буксующих шин, лишенных протекторов, время пьянки, злости, предательства и редкой ночной мечты...

Все нюют: всем нужны деньги, алименты... Пальто не купить, обувь развалилась. Хорошо, знакомый художник отдал свое почти новое зимнее пальто, да обувь прислали от Окуджавы, это был подарок через знакомого художника... Господи! Вот ведь жизнь! Ругаемся, даже деремся, а когда совсем прижмет — кидаемся спасать, ласкать и хоронить...

Валенки не сохнут на батарее. Да и какой размер валенок нужно покупать? Снова Пряжка. Поймашь прищуренный взгляд твердолобого санитара, ничем не отличающегося от обыкновенного уличного мента или от любого участкового, и пытаешься сохранить спокойное лицо, чтобы к врачу не поступило какое-нибудь особенное сообщение о твоём странном поведении в последнее время... А как иногда хочется крикнуть, спросить: «Ираидка, как там?»

...Новый год встречали тихо, по-семейному, на 7-ой Роте. На встречу с друзьями не было денег, а без них, без подарков, как-то неловко...

Утром Алексей пошел на улицу. Железный рубль на пиво оттягивал его карман... Но через несколько минут раздался неожиданный для меня звонок, и я увидела улыбающееся лицо мужа, который протягивал мне что-то бело-розовое... Оказалось, что Лешка нашел поросенка!..

Теперь я верю в Рождественские истории... «Понимаешь, на углу нашей Роты и Советского стоят две женщины и размышляют над

тем, чьи ноги, кошачьи или заячьи, торчат из сугроба?.. Я подошел и потянул, и вытащил поросенка!..

Теперь можно было позвонить друзьям, пригласить их в мастерскую на потерявшегося поросенка. Так и поступили.

...Из Лешиного письма родственникам:

Здравствуйте, дорогие!

Пишу вам письмо, и одно это должно вам сказать многое о том поистине бедственном положении, в котором я нахожусь. Искусство требует жертв — с этим все согласны, с этим никто не спорит, но все, почему-то, думают, что эти «жертвы» только духовного порядка, тогда как на самом деле они сугубо материальны. Вам все ясно? Да, мне нужны деньги. (...)

(В пропущенных мною строках он рассказывает о тяжелом положении питерских родственников и знакомых, которые в данный момент помочь ему не могут, и о тех, которые живут слишком благополучно, чтобы к ним обращаться...)

Теперь о моих делах. За три месяца 1974 года я сдал 8 экзаменов и 34 зачета. Когда я сдал последний зачет, отделяющий меня от диплома, т.е. вышел на финишную прямую, я купил на 6 рублей цветов, пришел в деканат, попросил всех встать, подарил цветы и спел «союз нерушимый»...

Была выставка СНО, ежегодная выставка творческих работ студентов нашего факультета. Кроме того, что первая премия (60 листов бумаги) досталась мне, ведущие художники города Ватенин и Крестовский около часа обсуждали мои работы и сделали вывод: после окончания института Алексей Сысоев несомненно будет художником, и художником интересным...

Зав.кафедрой рисунка (я делаю диплом на этой кафедре) говорит, что я «чувствую пятно на зависть», а чувство пятна (или композиционное чувство) и есть тот «Божий дар», который делает человека художником.

Но если вы думаете, что похвалы вскружили мне голову, то вы ошибаетесь. Три месяца на «Пряжке», а я прожил там всю осень, приучили меня к трезвости мышления, и я теперь твердо знаю — я должен работать, работать без остановки, или я погибну. Того же мнения держатся врачи.

Вот почему я пишу к вам — нависла угроза остановки работ. Тут я должен признаться, что мне просто не повезло. Я, на свою голову, изобрел способ печати, который буквально пожирает деньги. Вот в чем суть этого способа: на полированной металлической пластине или на толстом стекле делается специально приготовленной краской рисунок, затем стекло с рисунком покрывается листом бумаги, и все

это прокатывается под валом печально известного станка, купленного за деньги Гриши: на листке бумаги получается оттиск — т.е. конечная цель работы. В один день я печатаю сорок листов — из них один на уровне мировых стандартов, десять — на продажу, остальные — на помойку. Сократить число «помоечных» листов я не могу, потому что не знаю, какой оттиск будет лучшим, первый или сороковой. Сколько стоит бумага? 9 копеек лист. 9 на 40 равно 3 руб. 60 коп. 3.60 в день — отдай и не грехи! Далее краски — с ними еще сложнее...

(в конце несколько обычных фраз, подпись)

Вторая суббота 1988 года. С утра на квартире знакомого искусствоведа среди прекрасных интерьеров ждем встречи с Лео, коллекционером из «Оттуда». На улице противно, холодно, Лешку доканывает долгое ожидание, он то и дело порывается уйти, мне с трудом удастся удерживать его с помощью спасительной рюмки вина...

С опозданием на несколько часов появляется Лео. Искусствовед-Людовик, коллекционер-Лео и ко всему этому студенческое прозвище мужа моего, питерского художника Алексея Сысоева — Леопольд... Сижу среди трех «Л» и думаю, что же из всего этого получится?

Они понравились друг другу, Лео и «Леопольд»... и договорились о встрече «Там», возможно с выставкой.

В конце первой части этой встречи Лео покупает у нас несколько работ, это ли не праздник?!

Коньяк, такси, Охта, мастерские в мансардах, в подвалах, встречи, разговоры, объятия, лобызания, «Ну ты даешь, старичок! рад тебя видеть...»

Где-то в девятом часу вечера безудержно пожелалось нам с Алексеем в Москву...

Так уже бывало, и мы никогда не отказывали себе в удовольствии хоть иногда совершать маленькие подвиги во имя фантазии, в варианте сказочности и вседозволенности...

Почему-то минуя кассы, выскочили прямо к поезду, до отправления которого оставалось несколько мгновений... Часть из них уговаривали проводника, потом сидели в служебном купе, ожидая своего нового пристанища, и, наконец, дружески трепались с молоденькой негритянкой, которую провожал такой же чернокожий друг... Леопольд обожал такие вот мимолетные знакомства, они могли продолжиться потом или нет, но обязательно появлялись следом за ними наброски даже на клочках бумаги, если чего-то настоящего не было под рукой...

Поехали, сначала ходом черепашным, потом, разогнавшись, по-настоящему...

Вагон СВ, и места можно выбирать любые! Вокруг никого, только проводник, которого мы, конечно же, с удовольствием угощаем коньяком...

Меня разбудило одиночество. Я открыла глаза и убедилась, что Алексея со мною нет. Но во всем этом неприятном состоянии мне на редкость легко удалось поймать голоса, сумбурные, громкие, человеческие, пьяные.

Рядом с проводником и Алексеем в узеньком купе сидел мужчина с огромными руками.

Ладони этих огромных рук, вроде бы спокойно лежавшие на коленях, показались мне крыльями смерти, предвестниками ее... Они пахли, они напоминали засохшую и подгоревшую лепешку лаваша, обгрызанную назойливыми насекомыми с «той» стороны... Мне захотелось тут же утащить Алексея от этого человека. Я поняла тогда, что смерть имеет человеческое лицо, и очень большие руки, и запах, запах...

Память не прямая линия, проведенная из угла треугольника на середину противоположной стороны. Память — это скачки и ухабы, и для того, чтобы собрать что-то цельное, нужно возиться и возиться, вспоминать и вспоминать, и тысячу раз начинать все сначала... Вот и мне сейчас с запозданием вспомнились важнейшие подробности тех адских дней, такие, которым некоторые слишком самоуверенные люди не придают совершенно никакого значения... Ну что, например, из того, что негритянская девушка, которая тогда явно понравилась Леопольду, предлагала нам занять свою полку? И совсем это не ерунда, ведь заняв эту полку, мы бы ни за что не попали в пустой, гулкий вагон СВ, и не встретили бы человека с огромными руками, предвестниками смерти...

Утром, уже в Москве, на стоянке такси встретили знакомых художников, поговорили, покурили и, распрощавшись с ними, поехали на Покровский бульвар, принимавший нас уже несколько раз, нас спасавший и ласкавший, к удивительному созданию по имени Екатерина, которая пишет стихи, занимается рисунком и ко всему большущая книгопочитательница.

Не успели приехать — телефонный звонок из Питера... Андрей спрашивает, действительно ли мы в Москве? Ему почему-то показалось, что вчера мы звали его не в столицу нашей Родины, а в ресторан под названием «Москва»... А мы ведь действительно обзванивали вчера вечером друзей и псевдоласковым голосом приглашали их разделить с нами удовольствие от такого путешествия... Если Алексей уже спит, тогда его не будите, говорит

на прощание Андрей. Странно, Андрей никогда не звонил в Москву и с таким усердием не разыскивал Леопольда...

Все воскресенье Алексей действительно спит или иногда подключается к нашему с Катериной разговору. Вечером пьем чай, где-то на полке в шкафу лежит бутылка коньяка, совершенно никому не нужная почему-то...

Потом Алексей делает свой последний рисунок и вдруг над рисунком возникает фраза «За что?» Это и вопрос, и ответ сразу же, ответ, написанный красным мелком сверху... Как итог, как резолюция на документе.

ПОНЕДЕЛЬНИК: Катерина собирается на работу, пьем чай с блинами и договариваемся о вечере и друзьях, с которыми хотелось бы увидеться. Поздно вечером мы собираемся вернуться в Питер...

Вполне обычное утро, ничто не предвещает взрыва, грохота, конца... Алексей смотрит Битлз по телевизору, скоро мы оденемся и пойдем за сигаретами, да и просто побродить по Москве. Ираидка, как хорошо, что мы в Москве, говорит мне мой Леопольд и добавляет, что когда мы вернемся в Питер, все у нас начнется по-новому...

Где-то через час в дверях Катериной квартиры, уже выходя из нее на улицу, он оглянулся и спросил: «Что это?» — и начал падать. Я успела подхватить его и, обняв, несколько секундо-минут держала...

Его руки бились, как крылья, и казалось, что он начинает улетать от меня, потом он потерял сознание...

Вызываю «скорую». Тут же звоню на работу Катерине, говорю, что Алексею плохо... а он лежит у дверей...

Соседка по квартире, дав какой-то глупый совет, плотно закрывается в своей комнате, врачи уже здесь... У нас свои признаки, говорят они мне, он мертв.

До их прихода я пыталась расстегнуть рубашку, сделать массаж сердца, и еще что-то... Ты меня слышишь? спрашивала я его. Он пытался что-то ответить. Слов было не разобрать. Помню, что я говорила ему, чтобы он ничего не боялся... А теперь врачи говорят, что он мертв и вызывают милицию, обязательную в таких случаях. Милиционер приезжает, записывает со слов врачей происшедшее... А мой Леопольд улетел.

А потом мы с милиционером занесли Алексея из коридора в комнату... А чуть раньше, т.е. до приезда милиции, я почему-то выгнала врачей на лестницу, чтобы они ждали своего милиционера там... Кроме того, кажется, я показывала врачам последние работы Алексея и сказала им, что в этом доме только что умер талантливый человек... Да, видимо, все так и было...

...Я помню все с самого начала: летний вечер 15 июня 1980 года, сквер на улице Писарева и, самое главное, молодого человека с охапкой бутылок. Бутылки в руках, бутылки засунуты за ремень брюк, как гранаты... На нем: рваный по краям свитер, брюки, испачканные краской, и ко всему этому, длинные каштановые волосы до плеч...

Бросилась в глаза его готовность к бою... Не знаю почему, но я окликнула его... Я спросила его, что же такое с ним случилось, и не могу ли я чем-либо ему помочь? Я предложила ему присесть на скамейку и поговорить.

Прошел наш день первый, и наступил наш день второй, всю ночь мы проговорили, договорились о новых встречах, он встретил меня после работы с цветком в руках, сказал: я сегодня заработал 5 рублей, разгрузил машину в Лавке художников. Что будем делать?

Гуляем по городу. Алексей показывает мне свой Питер. Иногда смотрит на небо, находит в каком-то дальнем его уголке особый цветовой оттенок и спрашивает меня, каким бы я его определила? Я очень боюсь ошибиться, но отвечаю, на всякий случай закрыв глаза... Иногда у меня получались правильные ответы...

Покупаем что-то на ужин и идем в мастерскую, там Алексей показывает мне серию своих работ «Африка». И как? — спрашивает, тревожно заглядывая мне в глаза... Умен и талантлив не по годам, — удастся вывернуться мне...

Яркие неожиданные пятна на картинах А.Сысоева как резкий крик, как безудержное веселье, переходящее в муку, как вечное заточение.

Страдание Цветов и Кукол на картинах Сысоева происходит от того, что им никак не выбраться из мглы сознания, жаждущего воды и соли.

(Н.Суворов, искусствовед)

У нас не получалось жить ни с его, ни с моими родителями, спасала мастерская, подвальная, холодная, совершенно непригодная для жилья... Привести себя в порядок мы выбирались или ко мне на Красноармейскую, или к нему в Столярный. Из запомнившегося тамошнего: обезноженная старуха по имени Женька, жившая на углу Столярного и Казначейской. Окруженная кошками, которые милостиво ее терпели, тянула она в своем подвальном жилище, ожидая подаваний, человеческих слов, остатков пива в заляпанных потными руками кружках... Рядом был пивной ларек, Женька постоянно сидела у распахнутого подвального окна, кому как ни горькому пьянице придет в голову поделиться чем бог послал с

несчастной старухой?.. Леша почти всегда покупал Женьке полную кружку пива, он преподносил ее ей с каким-то особенным почтением, граничащим с нежностью. Крупное Женькино лицо расплывалось в особенной улыбке, перевести которую было практически невозможно, но, может быть, тогда она кому-то что-то прощала, и ей безусловно было кому что прощать.

Ему постоянно были нужны новые лица, новые движения и краски, отсюда жажда новых знакомств, с явной приверженностью к типажам плана Женьки...

А ведь мы нарисовали нашу жизнь! И когда та, нарисованная, совпадала с нашей, действительной, нам было радостно и счастливо. Если был нарисован восточный пейзаж, мы уезжали на восток на последние деньги... Если море, то к морю, если любовь — к любви... Даже сейчас после стольких дней я живу в этом нарисованном мире, смотрю на себя нарисованную, там я не старею, не глупею, и даже не умнею... Я просто нарисована моим любимым художником, которому я столько времени пыталась помочь. Он стал моим мужем, подарил мне свою фамилию, и в паспорте моем стоит государственная печать об этом... Настало сорок первое лето моей жизни, и мой художник улетел как-то утром из моих рук, он перестал быть видимым... Нет, он не перестал быть ощущаемым, просто удобнее, чтобы его кроме меня никто не видел... только посвященные в нашу тайну.

Алексею приснился сон: фашисты закрыли в каком-то амбаре маленьких детей и готовятся их сжечь... Вокруг мотоциклисты с пулеметами на колясках, каменные лица, дополненные уродливыми касками на сильных ремнях, вокруг согнан народ, и надо всем этим висит обреченность...

Он рвется спасти детей... Находит топор, подбирается к двери, и... ломает замок двери соседки по квартире, которая (вот ведь везет!) работает в дурдоме на ненавистной ему Пряжке, где он давно уже свой человек...

Он позвонил мне на работу, задыхаясь сообщил, что за ним уже прислали милиционера, который через несколько мгновений поведет его "ТУДА"...

Прошу его попытаться чуть-чуть задержаться, отпрашиваюсь, хватаю такси, приезжаю и в дверях сталкиваюсь с ними уже выходящими...

Едем на такси. Для этого, опять же, мне пришлось уговаривать представителя власти... По дороге Алексей пьет пиво. Мне нужно привезти его «туда» самой, мне важно, чтобы его не оставили «там» надолго...

Но в конце концов дело заканчивается судом, результатом которого стало годовичное принудительное лечение от алкоголизма...

Попыталась вытащить его с Пряжки через полгода, но не тут-то было... Несмотря на нанятого адвоката, уверенное заключение врачей: искаженная психика — рисует людей с головами животных... мания величия — называет себя художником... и т.д. Через некоторое время этого «эксперта» уволят за взятки...

Но нас и спасали. Я и сейчас помню это лицо: римское, с прямым носом, с темными кудрявыми волосами, с большими глазами... «Пробудитесь, вы горите», — сказал мне этот человек. Открываю глаза и еще даже чувствую его руку на своем плече... Случилось такое с нами на Мойке, в мастерской, в августе 83-го или 84-го года. Мы поздно вернулись, быстренько постелили и уснули, видимо, Лешка закурил...

Комната полна дымом, стен уже не видно, но явные черные хлопья летают около глаз. Бужу Алексея, вывожу его сонного на улицу, быстро выбрасываю тлеющий матрац и постельное белье на помойку. Боюсь, что опять жильцы дома будут кричать, что «эти художники» отравляют им жизнь... Но тишина, рассвет, пустой двор.

Мог быть только Ангелом спасший нас юноша с римским лицом... Он и потом часто спасал меня советами. Мы не разговаривали, нет, просто я спрашивала что-нибудь и сама тут же отвечала на свой вопрос, а он отворачивался, ежели что-то было не так, или спокойно смотрел мне в глаза, если все было в порядке. А не могло ли быть, что ко мне прилетал иногда Ангел Алексея? Во время пожара ему было никак не добудиться Лешку, и потом в каких-то случаях он стал прилетать ко мне?

День рождения Алексея. Первое после его смерти. Мы с подругой идем поставить свечи в церковь Смоленского кладбища, которую Алексей любил больше всех остальных. Когда-то мы с ним любили бродить здесь, среди таинственности и старины, возле мраморных купеческих надгробий и часовенки Ксении Блаженной, притягивающей к себе женщин всех возрастов.

В церкви обращаюсь к священнику, спрашиваю его, возле какой иконы мне можно поставить свечу в память об умершем муже?

Ставим свечи, выходим из церкви, смотрим на небо над часовней Ксении — там пролетают облака, ничего вроде бы особенного... Но вдруг я совершенно отчетливо вижу среди облаков своего Алексея, он спокойно смотрит вниз и совершенно точно видит меня... За Алексеем я вижу нас с ним, нарисованных им несколько лет тому назад... А следом летят вереницы наших друзей, и живущих, и уже ушедших... Они делают несколько кругов над часовней и пропадают почти так же, как утром могут пропадать тени возле фонарей...

Спустя три года на даче у дочери я увидела, как по небу летела стая существ во главе со смертью... Смерть летела над озером и очень спешила. А скоро у моей лучшей подруги умер муж — один из самых любимых моих друзей... Он умер в январе, как и Алексей, он умер в половину одиннадцатого, как и Алексей, только вечером...

Я боюсь своих снов и почему-то жду их. Они разные, и очень часто я записываю их или зарисовываю. Чтобы потом можно было посмотреть заново, или досмотреть, если что-нибудь непонятно. Или, в самом страшном случае, если это величайший кошмар, решиться и порвать, так, чтобы навсегда...

А потом я очень долго пыталась, увидеть Алексея... Я вглядывалась в лица прохожих, пыталась каким-то образом даже вызвать сны... но у меня долго ничего не получалось. Но как-то мне приснилось-таки, что Алексей приглашает меня на выставку:

Мы заходим в ангар и видим множество работ, которых раньше я никогда у Алексея не видела... Смотрим, разговариваем, и я почему-то прошу Лешу, чтобы он пригласил Андрея... Выходим и видим Андрея, который стоит с какими-то молодыми женщинами, совершенно мне незнакомыми. Алексей просит меня подождать, уходит и через пару минут появляется, держа в руках веревку, за которую привязана белая корова, как мне показалось, восточного типа, с причудливо выгнутыми рогами...

Алексей проходит мимо меня, кивает на Андрея и говорит мне, чтобы я шла к ждущим меня... А сам подходит к повозке, на которую набросано сено, а на сене сидят женщины в купальниках... Я сержусь и ухожу...

Через несколько дней после этого странного сна совершенно неожиданно я оказываюсь в Москве и попадаю на выставку Сальвадора Дали. И на одном из его рисунков вижу корову, очень похожую на ту, которую возле меня провел Алексей... Еще позже пытаюсь анализировать случившееся и догадываюсь, что с Алексеем ТАМ все в порядке, что он ТАМ рядом с близкими по духу людьми...

Алексей мне почти не снится. Но я всегда говорю знакомым своим, что можно поссориться, расстаться, но остается шанс случайно встретиться вновь... У меня такого шанса почти нет, только рисунки и сны. Вот все, что осталось.

Алексей в дурдомовском, зимнем, стеганом (не уверена, что там такие, типа зимнего ватника) халате. В зимней шапке с длинными ушами, и почему-то, как у ребенка, под ней платок... Плачет и просит защитить его от обитающих и служащих там... Беру его на руки, прижимаю к себе, успокаиваю, и просыпаюсь...



Редакция : Арсен Мирзаев,
Александр Новаковский

При оформлении номера использованы
работы Алексея Сысоева

Художественный редактор Александр Клопов
Верстка : Роман Макарчук
Набор : Ольга Абрамович

По всем вопросам обращаться :
195252 СПб, а/я 50

Представители журнала :

в Европе : Alexej Gurjanov, 3 Seume str.
30161 Hannover 314789

tel. 314789

в Америке : Veronica Ahrens-Pulawski,
Globus (A Slavic Bookstore) 332 Balboa street,
San Francisco, CA94118 USA.
tel. (415)-668-4723

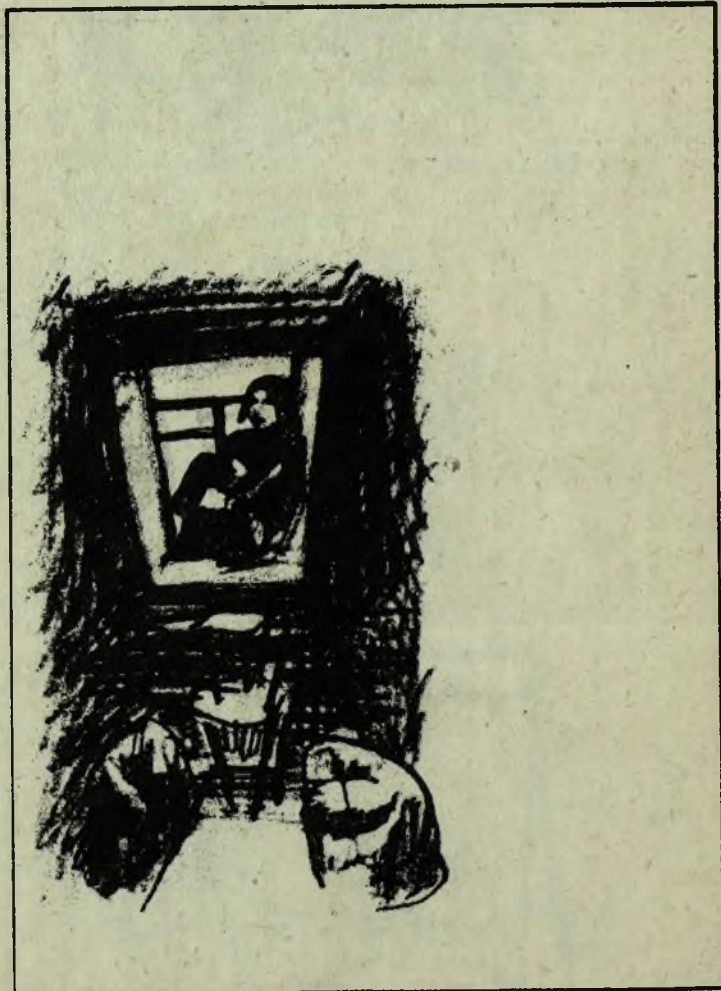
Формат 60 90 1/32
Бумага офсетная №1
Печать офсетная
Тираж 500 экз. Заказ № 161.
Отпечатано в ТОО "Форзац"

© "Сумерки"



1995

**ИНТЕРВЬЮ-
ПРОЕКТЫ
ИЗВЕЩА**



СУМЕРКИ